

Вера Панова Спутники

Часть первая Ночь

Глава первая Данилов

Не спалось. Данилов встал. Отдернул плотную занавеску и опустил окно. Тяжелая рама бесшумно скользнула вниз. Все в этом поезде было добротное, хорошо пригнанное, долговечное. Приятно взяться за любую вещь.

Ветер влетел в окно. Небо и поля были пепельно-светлые, без красок. Белая ночь, Очень тихо.

Лето в этом году пришло поздно и не было похоже ни на одно другое лето. Днем солнце палило, как на юге, а ночи были холодные. Данилов озяб, стоя у окна. Может быть, он стоял очень долго? Он не знал, долго или нет.

Он надел галифе и сапоги. Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковровые туфли. Прекрасный был бы вид: галифе с дудками до щиколоток и ковровые туфли. Интересно, мужа своего она одела бы так?

Он не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку и аккуратно затянул скрипучий холодный ремень. И взял фуражку.

Кто-то должен подавать пример команде, черт бы побрал начальника.

В коридоре штабного вагона пепельно светились широкие окна. Пусто. Тихо, по-ночному сиротливо. Небо и поля плыли назад, светлые, без красок. Спит ли начальник? Данилов отодвинул бесшумную дверь купе, взглянул: начальник спал полураздетый, в брючках, в носках, по-детски поджав короткие ножки. Руки его были сложены ладонями и прижаты к подбородку, как будто начальник молился.

Рядом отворилось купе. Ординатор Супругов вышел в коридор, на нем был синий госпитальный халат и ковровые туфли.

– Вы тоже не спите, Иван Егорыч?

– Нет, я спал.

Он солгал, потому что ему не хотелось ни в чем походить на Супругова. Если Супругов не спит, значит он, Данилов, должен спать. И наоборот.

– Я уже выспался. А вы?

– Мне, знаете, что-то не спится. Непривычная обстановка, должно быть, действует.

– Почему же непривычная? Едем в поезде, и все.

– Да куда едем? – хихикнул Супругов. Отвратительная у него эта манера – хихикать. Хорошие люди улыбаются или смеются громко.

– К фронту едем, товарищ военврач.

С высоты своего прекрасного роста Данилов рассматривал Супругова. Дрейфишь, дрейфишь, доктор. Это тебе не в кабинете пациентов принимать: «Вздохните глубже. Вздохните еще раз...»

.– Можем попасть в переплет, как вы думаете?

– Что же, мы лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в переплет.

Супругов поднял робкие глаза. Золотой зуб Данилова блеснул в пепельном свете ночи. Супругов сделал строгое лицо.

– Я не понимаю, – заговорил он другим тоном, быстро и раздраженно. – Такой поезд пускать на фронт – это вредительство. Фаина говорит, от первого разрыва все окна вылетят.

– Какая Фаина?

– Старшая сестра.

– Ее зовут Фаина? – забытый запах исходит от этого имени, запах мокрых, тяжелых и нежных женских волос. Фу ты, нашел, что вспоминать. Это было почти четверть века назад. Да, двадцать два года. У старшей сестры волосы стриженные и завитые бараном. Туда же – Фаина.

– Это определенно вредительство, – сказал Супругов и сокрушенно закурил.

– Что вы предлагаете? – скулы Данилова дрогнули. Если бы Супругов всмотрелся, он увидел бы ярость в его светлых глазах. Но Супругов был занят папиросой, которая почему-то потухла, – должно быть, гильза была рваная.

– Повернете стоп-кран? Пошлете молнию наркому: «Заступитесь за вагоны, их гонят под бомбы»?

Супругов понял, что над ним издеваются. Он ужасно обиделся. В конце концов, он не санитар, он военный врач.

– Я ничего не предлагаю. Но я могу иметь свое мнение. Я так же, как и вы, еду на верную гибель.

– Вы думаете?... Ну что же, пока мы еще не погибли, я, с вашего разрешения, схожу проверить команду и посты.

Посасывая папиросу, которая опять потухла, Супругов смотрел Данилову вслед. Молодцеватая у комиссара выправка. Супругову стало неловко за свой халат. Он сам виноват, конечно. Не надо набиваться на частые разговоры. С Фаиной, вообще с девушками еще туда-сюда. Но с комиссаром – ни в коем случае. С таким надо держать ухо востро.

В команде были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно. Быстро обжили вагончик. У девушек над полками висели зеркальца, куколки и карточки милых. Не завели бы клопов за карточками милых. Придется проследить.

С краю внизу спала Лена Огородникова, смешная маленькая женщина, похожая на мальчишку, который помалкивает, а про себя затевает какое-то озорство. У нее и во сне было такое лицо, словно ее смешили. Зеркальце в форме палитры поблескивало у нее над изголовьем. Мальчишка, значит, тоже смотрится в зеркало. Против Лены, разметав могучие руки, бурно дышала и всхрапывала Ия, – дадут же любящие родители такое имя дочери. Молодцы девушки, – все как одна в мужских трикотажных рубашках или майках; в женской сорочке ни одной. Третьего дня он застал Ию спящей с оголенными плечами; растолкал и дал внеочередной наряд. Что за распушенность. Девушка должна быть стыдливой.

Вагоны были готовы к приему раненых. Койки с синими байковыми одеялами щеголевато заправлены. На несмятых подушках – полотенца, сложенные треугольником.

Пахло серой, щелоком, лаком и тем неуловимым, безыменным запахом, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ни окраской, ни дезинфекцией.

Эти обыкновенные «жесткие» вагоны предназначались для легкораненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой, с огоньком папиросы во рту.

Курить в вагонах запрещено, но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек – не машина. Поезд шел к фронту, как знамя нес свой красные кресты. Никто в поезде не надеялся, что эти кресты послужат им защитой. Каждый знал, что именно по красным крестам и будет бить враг.

В девятом вагоне дежурил Сухоедов, низкорослый человек с квадратными плечами и большой головой без шеи. Он был старше всех в поезде, кроме начальника. Данилов знал, что Сухоедов в свое время бил Юденича, в финскую кампанию пошел на фронт добровольцем и был ранен. 22 июня, в день объявления войны, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы его направили в действующую армию. Ни по годам, ни по здоровью он не подходил для строевой службы. Его послали в санитарный поезд. Вид у него был горько обиженный, словно его обошли наградой. В мирное время он работал на подмосковной шахте. В морщины его лица въелась угольная пыль. Детски лазоревыми казались на этом лице ясные голубые глаза.

Сухоедов стоял у окна и не пошел навстречу Данилову, только на секунду повернул голову и поманил пальцем. Данилов подошел. Вид у Сухоедова был необычный. Ни обиды, ни

горечи. Вид охотника, идущего по следу зверя.

– Вон он где, видишь ты? – тихо спросил он.

На горизонте, за низкой темной полоской далекого леса, шевелился какой-то свет. И вдруг шагнул в небо луч прожектора и задвигался влево и вправо, неторопливый, беззвучный, неяркий. И другой луч шагнул откуда-то сбоку, лучи скрестились, замерли на мгновение и разошлись, шаря в небе.

– Его ищем! – сказал Сухоедов строго. – Ты ничего не слышишь?

– Ничего не слышу.

Сухоедов помолчал, вслушиваясь.

– Лупит, – сказал он нехотя. – Ох, здорово где-то лупит... – и, вытащив из кармана кисет, стал скручивать папироску.

– Куришь? – спросил он, протягивая кисет Данилову.

– Нет, не курю.

– Это, между прочим, правильно, – сказал Сухоедов. – От табака нападает по утрам такой кашель – не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: целая громадная забота с плеч – не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишься – конец.

Данилов усмехнулся.

– Тридцать восемь лет прожил – не соблазнился; теперь уж не закурю.

Сухоедов ребячески удивленно поднял брови:

– Да неужели тебе тридцать восемь?

– Тридцать девятый весной пошел.

– Молодо выглядишь, – задумчиво сказал Сухоедов, разглядывая Данилова. – Я бы тебе тридцать дал, ну – тридцать два от силы. Жизнь, что ли, легкая была?

– Легкая или нет – не знаю, – ответил Данилов, – но хорошая была жизнь у меня, я таких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.

Они помолчали. И странно сказал Сухоедов:

– Тебя не убьют.

Лучи за окном опять скрестились, стали неподвижно, косым крестом.

Данилов и сам знал, что его не убьют. Не может его жизнь так вот просто взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено на время. Кончено только с Фаиной. А может, – чем черт не шутит, – и ее когда-нибудь – он еще повстречает. Станет перед ним, выгнув спину, закинув голову, встряхнет тяжелыми мокрыми волосами... «Расчеши их, Ваня», – скажет... Глупости, ребячий вздор, в котором никому нельзя сознаться, даже себе.

За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека. Почему он так назван – неизвестно. Аптека занимала в нем маленькое купе. Остальные помещения были приспособлены под перевязочную, душевую и вентиляционную. В служебном купе стоял письменный стол для медицинского секретаря. Такая должность была в списке персонала. Человека с этим знанием в поезде не было. Данилов не знал, что должен делать медицинский секретарь, и никто не знал; поэтому при укомплектовании штата Данилов попросту никого на эту должность не назначил.

Вагон-аптека был любимым вагоном Данилова. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, линолеум, в герметические двери, в откидные столики и стулья, прилаженные к стенам. Чистота и удобство были страстью Данилова. Он относился к любимому вагону ревниво. Платком тер оконные стекла – нет ли пыли. Аптекарьша в первый же день ухитрилась пролить йод на голубовато-белый, только что выкрашенный стол. Данилов, увидев пятно, побледнел от огорчения. Клава Мухина, санитарка, сбивалась с ног, поддерживая эту невозможную, стерильную чистоту, которой требовал комиссар.

И сейчас Клава была в душевой. Стоя у стола, низко наклонив темно-рыжую голову в чалме из марли, она собирала в оборку бинт. Окна были занавешены, горела лампочка.

– Что вы делаете? – спросил Данилов.

Она повернула к нему белое, в крупных веснушках, доброе и сонное лицо.

– Абажур, – сказала она с усталым вздохом.

– Еще один? На лампочку?

– Нет. На точку.

– На какую точку?

– Душевую.

Она была сонная и объясняла невнятно, но он понял, и ему понравилась затея.

– Ага! – сказал он. – Когда душевые точки не действуют, на них надевают абажуры, чтоб было красиво, так?

– Да, – отвечала она, – только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или розовый.

– Да, конечно, шелк лучше, – усмехнулся он. – Но шелка, Клаша, нет. А бинт можно покрасить синькой – будет голубой.

– А то еще, знаете, если бы красные чернила, – сказала Клава и доверчиво посмотрела ему в лицо. – Развести водой – будет розовая краска.

– Купим красных чернил, – обещал Данилов. – До первого магазина доберемся – сейчас же купим.

Рыжая девочка развеселила его. Он шел гремучими переходами и улыбался.

Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких перегородок, просторно, как в палате. Белая краска. Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Висячие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался госпиталь. Почему-то хотелось поскорее пройти мимо этих подвесных коек с боковыми сетками, как у детских кроватей.

И вот хвостовой вагон-изолятор, простой вагон, в конце которого помещается электростанция. Сюда и направлялся Данилов, здесь была главная цель его обхода, здесь он чувствовал беду.

Дежурного в изоляторе он не встретил.

Он постоял у двери электростанции: голоса, но ничего не слышно толком, мешает шум колес. В общем, тише, чем он думал.

Он отворил сразу. Никто не испугался, встал только дежурный боец Горемыкин, остальные продолжали сидеть. Кравцов, машинист электростанции, передвинул папироску в угол рта, шлепнул картой по столу и сказал:

– Бью и наваливаю.

– Врешь, трефы козыри, – сказал вагонный мастер Протасов и тоже положил карту.

Молодой электромонтер Низвецкий вдруг сконфузился и встал.

Эти все, кроме Горемыкина, были специалисты высокой квалификации – самый трудный народ. А Кравцов, кроме того, был вольнонаемный.

– Бутылочек ищите, товарищ комиссар? – сказал Кравцов, наблюдая Данилова. – Не трудитесь, бутылочки – тю-тю!

Он махнул рукой. Веки у него были красные, взгляд мутный.

Данилов сел на табурет и задумался. И специалисты замолчали, глядя на него, лица их стали озабоченными и серьезными. Горемыкин, за спиной Данилова, крадучись, виновато вышел, бережно прикрыл дверь... С Горемыкиным все ясно. С Горемыкиным – известный разговор. И этих трех он, Данилов, мог бы арестовать. Нарезались сукины дети. Он еще днем, в Вологде, подметил, что они бегали и шушукались... Арестовать не долго. А дальше что?

– Сдай-ка, ну! – сказал Данилов встревоженному и бледному Низвецкому. – В подкидного дурака сдай.

Он сыграл с ними партию вдумчиво и истово, внимательно следя за игрой, приоткрыв маленький высокомерный рот, в котором блеснул золотой зуб. Выиграл и встал.

– Вот так играть надо. Довольно, или танцы до утра?

Кравцов и Протасов хмуро молчали. Низвецкий сказал неуверенно:

– Да нет, поспать надо.

– Ну, пойдём, – сказал Данилов.

Низвецкий шел за ним по вагонам, тоскливо ожидая разговора. Данилов молчал и не оглядывался. Он отворял двери – Низвецкий закрывал их. Громыхали колеса на переходах. Уже настоящая ночь накрыла мир, небо вызвездило, скоро утро.

В вагоне-аптеке Клава, сонно сопя, примеряла на душ абажур из оборочек.

– Смотри, что она придумала, – сказал Данилов Низвецкому. – Уют наводит. Погоди, она тут наделает такое голубое и розовое... Слушай! Я хочу здесь сделать радиоточку. Раненый придет на перевязку, посидит тут, послушает. Займешься?

– Можно, – пробормотал Низвецкий.

Данилов оглядывал его. Интеллигентный вид у парня, одет – чисто, видно, что привык носить хорошую одежду.

– Что у тебя? – спросил он. – Почему тебя не взяли в строй?

– Геморрой, – отвечал Низвецкий, густо краснея.

Данилов удивился.

– Смотри, какую нажил стариковскую болезнь! А хотел бы в строй?

– Я шесть лет служил в поезде. Москва-Владивосток, – сказал Низвецкий, волнуясь. – Я бы мог продолжать там служить, меня никто не трогал. Я сам попросился в санитарный поезд. Чтобы хоть чем-нибудь...

– А в санитарном поезде, – сказал Данилов, – дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так я тебе скажу, что можно фронтовому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ангелы. Херувимы и серафимы, да. Мы – братья и сестры милосердия... Этой водки, будь она проклята, – сказал он тихо и страстно, сжав кулаки, – не будет в поезде в самое ближайшее время, я тебе ручаюсь.

Еще двух недель не было, как шла война, а казалось, что она длится годы.

Утром 22 июня Данилов проснулся поздно и рассердился на жену: почему не разбудила. Ему хотелось провести этот день с сыном. И чтобы день был большой, чтобы и он и сын насладились им. А жена пожалела разбудить и сократила праздничный, такой редкий отдых.

Сын влез на кровать, уселся верхом ему на ноги, – плюшевоголовый, в белом костюмчике, в синих носках. Солнце лежало на вымытом желтом полу. Настоящее лето только началось, а уже был загар на щеках и на ножках сына.

– Папа, мы пойдем?

Он обещал сыну прогулку. Обещал рано встать и сразу же идти. Из-за жены он проспал. Мальчишка мучался все утро. Мальчишка усомнился в отце.

– Пойдем, сын, вот только перекусим чего-нибудь и сейчас же пойдем.

– Ой, зачем ты чистишь зубы, – говорил сын, стоя около него, – ведь ты сегодня не пойдешь в трест.

Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород. Второй год он с женой жил в городе, он был директором треста, а жена все не могла привыкнуть покупать овощи в магазине и сажала свой. Для картошки и капусты земли возле дома не хватало, картошку и капусту она сажала где-то за городом. Она ездила туда поездом полоть и поливать. Руки у нее были темные, крестьянские. Данилов говорил:

– Все жадность, готова в могилу себя загнать, лишь бы не переплатить лишнюю копейку.

А она отвечала:

– Как же без своей картошки?

Но в это утро вид зеленых грядок был приятен Данилову. Он ходил между ними и смотрел, как развилась помидорная рассада, скоро ли можно будет рвать салат, а сын садился на корточки и спрашивал:

– Как ты думаешь, редиска уже есть? Вот в эту минуту он запомнил себя и сына, как на фотографии: он, Данилов, стоит между грядками, небо солнечное, мирное и радостное, и сын сидит на корточках и спрашивает:

– Как ты думаешь, редиска уже есть?

Это была последняя минута прежней жизни, с сыном, с воскресным отдыхом, с ленивыми мыслями о прогулке и пироге.

На крыльцо выбежала жена:

– Ваня, война. Молотов говорит...

Он вбежал в дом. Радио договаривало слова, не оставляющие сомнений. Радио замолчало. Данилов поднял голову. Все стало другим. По-другому светило солнце. Другим стал его дом. Другое лицо было у жены. Та минута покоя и созерцания ушла на годы назад. Все полетело и помчалось куда-то следом за его мыслями.

– Папа, а мы пойдем все-таки? – спросил сын.

Сыну было четыре года.

– Нет, – ответил Данилов, и сын заплакал...

В тот день Данилов разобрал свои бумаги, написал письмо отцу, сходил на почту и отправил старику денег.

Среди старых писем попался измятый конверт, из него торчали уголки фотографической карточки, – он не вынул карточку, бросил, не поглядев, на дно ящика.

Карточки сына он положил в бумажник.

Ночью жена плакала, тихо, чтобы не потревожить его. Он делал вид, что спит.

Она поймала какое-то его движение, приподнялась, сверху взглянула ему в лицо:

– Ведь тебе бронь дадут, Ваня?

Он отвернулся. Вопрос был решен утром, когда говорило радио. Завтра он пойдет в военкомат. А ей – меньше всего дела. Она – десятая спица в колеснице.

Наутро ему принесли повестку. Что ж, тем лучше. Не станут говорить, что он выскакивает. Пошел по мобилизации – и все.

В военкомате Данилова направили к Потапенке. Потапенко был приятель, директор санатория. В военной форме, наголо остриженный и помолодевший, он сидел за пустым столом, кругом толпились штатские люди. И хотя эти люди только что пришли и хотя все окна были открыты настежь, но в комнате уже так накурили, что дышать было нечем.

Потапенко протянул Данилову пухлую теплую руку.

– Эге, пришел. Бронироваться будешь?

– Нет.

– Ладно, обожди, – сказал Потапенко.

Совсем не обязательно было, чтобы Данилов так долго ждал, Потапенко принял раньше даже тех, кто пришел позже, – но Данилов понимал: Потапенко хотел перед ним покрасоваться. Ему было приятно, что вот Данилов еще в штатском и дожидается, а он, Потапенко, уже в военном и к нему приходят за назначениями и распоряжениями. Бабье, атласно выбритое, с двойным подбородком лицо Потапенки сияло от удовольствия. Он хмурил белесые брови, хотел скрыть сиянье, – ничего не получалось. Наконец он подозвал Данилова.

– Садись, – сказал Потапенко. – Ты в батальоне служил?

– В батальоне.

– Ладно, – сказал Потапенко, записывая в блокнот. – Пойдешь в санитарный поезд комиссаром. Постой, – сказал он, предупреждая возражения Данилова. – Все знаю, что скажешь. А все-таки пойдешь в санпоезд. Поезд надо формировать. Ты знаешь, как это делается?

– Нет. А ты?

– Я тоже не знаю, – сказал Потапенко. – Не боги жгут горшки, Иван Егорыч.

– Не боги, – согласился Данилов.

– Инструкция есть, вот она. Ты грамотный – прочтешь. Людей бери, каких хочешь, ссориться не будем – некогда.

– Кто начальник?

– Начальника еще нет, – отвечал Потапенко. – Будет и начальник, а ты формируй.

– Где поезд? – спросил Данилов.

Потапенко засмеялся.

– Поезда, брат, тоже нет. Поезд – в вагоноремонтном, еще не выпущен. А ты формируй.

– Есть формировать, – сказал Данилов, вставая.

У выхода он столкнулся с председателем месткома Григорьевым. Запыхавшись, Григорьев нес ему броню.

– Вы эту бумажку пришейте куда-нибудь, – сказал Данилов, – а Меркулову (это был его заместитель) скажите, чтоб вечером был в тресте, я приду сдавать ему дела.

Но в этот вечер он не пришел. Только 26-го дождался его Меркулов, уже получивший от наркомата официальное назначение на пост директора треста, на место Данилова.

Все эти три дня Данилов укомплектовывал штат санитарного поезда. Требовалось много народу: врач-ординатор, военфельдшер, перевязочная сестра, старшая сестра, младшие сестры, санитары, бойцы, кочегары, машинист на электростанцию, электромонтер, проводники, вагонные мастера... Не один Данилов бегал по городу в поисках нужных людей – в городе формировали полсотни санитарных поездов, и в каждый были срочно нужны врачи-ординаторы, сестры, санитары, проводники...

На людей у Данилова был свой взгляд, этот взгляд многим казался странным.

Когда перед ним стоял вопрос: кого выбрать – уверенного, развязного городского фельдшера, шутника и здоровяка, или застенчивую, серенькую деревенскую фельдшерицу с двухлетней практикой, с молодым нервным, болезненным лицом, – он, не колеблясь, выбрал фельдшерицу.

И когда подошла к нему эта страшная, красная, как индеец, горбоносая и подслеповатая Юлия Дмитриевна – перевязочная сестра, – он не испугался, а обрадовался. С первого взгляда он понял: это то, что надо.

Санитаров подбирали из мобилизованных бойцов. Красный крест присылал девушек, окончивших курсы медицинских сестер.

Он приходил в казармы, где на узелках и чемоданах, как на вокзале, сидели и спали люди, и кричал:

– Военфельдшеры – есть? Фармацевты – есть? Кочегары – есть? Товарищи, внимание!! Фармацевты – есть?

И вот к нему подошла маленькая женщина с мальчишеским лицом, задумчиво-плутоватым и смешливым. Голубая майка. Стриженные волосы.

– Вы фармацевт? – спросил Данилов.

– Нет, – отвечала она. – Я учительница физкультуры.

– Физкультуры не надо, – сказал он.

Она засмеялась.

– Я знаю. Я пойду в санитарки.

– Идите вы, – сказал он. – Для этого посильнее нужен народ.

Она опять засмеялась, живо нагнулась, подхватила его под коленки, и он почувствовал, что его подняли над полом. На секунду, но все же подняли.

– Здорово! – сказал он. – Что здорово, то здорово.

Она стояла прямо, дыхание у нее было легкое.

– Как зовут? – спросил он.

– Лена Огородникова.

Труднее всего было получить работников технических специальностей. Электромашинистов и монтеров забирали из-под носа у Данилова. Транспорт не хотел отдавать ремонтных рабочих. «Обойдетесь и так, – говорили Данилову, – все равно отремонтироваться приедете к нам».

Самый поезд еще не вышел из ремонтного завода. Ждали начальника поезда, чтобы принял состав. Военврач Супругов, ординатор, отказался взять на себя такую ответственность.

– Я маленький работник, товарищи, – сказал он.

Был он вежлив, смеялся всякой шутке, навязчиво угощал папиросами. Чувствовалось в нем беспокойство, – видно было, что душа в этом щуплом штатском теле тоскует, не находит себе места.

Обедать и ночевать Данилов ходил домой. Жена встречала его с молчаливой растерянностью. Ему не хотелось ни о чем ей рассказывать. Она видела, что он уже без остатка принадлежит новому своему делу. Так было с совхозом, потом с трестом. Теперь с санитарным поездом. Эта душа никогда не жила дома. Дома для нее существовал только сын. Жена молча

подавала Данилову еду, стелила постель. Лицо ее за эти три дня осунулось, стало некрасивым. По ночам она не выдерживала, начинала шептать:

– Меркулову дали бронь, главному бухгалтеру дали, даже Григорьеву – и тому дали...

– Ну? – спрашивал он с притворным хладнокровием, подавляя злость. – Ну, дали, и прекрасно, и что дальше?

– Тебе никого не жалко. Ни меня, ни Ванюшки, никого.

Он отворачивался.

– Довольно, я спать хочу.

Он почти не вспоминал о тресте, захваченный новой работой. 26-го выдались часа два свободных, он пошел сдавать дела Меркулову. Завернул в знакомый переулок. Увидел черную доску с золотой надписью: «Республиканский трест молочных совхозов». Правый нижний угол доски был надтреснут, он был надтреснут еще тогда, когда Данилов пришел сюда принимать дела. Знакомая лестница, щелкают счеты в бухгалтерии, трещит арифмометр. Дверь налево, обитая черной клеенкой... Его дверь. Его трест.

Передав Меркулову дела, он обошел комнаты и попрощался со всеми. Старуха-кассирша заплакала. Ему было приятно, что она плачет. Сморкаясь, она сказала:

– А у нас-то машину забрали, вы слышали? Меркулов завтра выезжает в район поездом, можете себе представить?

Все были огорчены его отъездом, кроме Меркулова. Данилов заметил, что Меркулов рад. Конечно, он рад не тому, что сидит в директорском кресле; не такой это человек. Просто дорвался до самостоятельной деятельности, почувствовал свободу... Неужели он, Данилов, мешал ему?

Из треста Данилов пошел к Потапенке. Около Потапенки стоял старичок лет шестидесяти, что-то, жестикулируя, рассказывал. Увидев Данилова, Потапенко сказал:

– Вот знакомьтесь с вашим начальником поезда. Доктор Белов.

Данилов взглянул на начальника: плохонький! Росту невидного, личико худое. Начальник еще не успел переодеться в военное: брючки, ботиночки, ай-ай-ай! Что с ним, таким, делать?

Вслух Данилов сказал, ободряя старичка:

– Ничего, товарищ начальник, сработаемся!

У начальника с собой был маленький чемоданчик, к чемоданчику привязаны валенки и чайник. Начальник приехал из Ленинграда.

Неожиданно он сказал бодрым, воинственным даже голосом:

– Ну что ж, знаете, ничего не поделаешь – будем воевать!

– Вместе, – сказал Потапенко и с наслаждением посмотрел на Данилова.

– Вот именно, вместе, – сказал старичок.

Данилов позвал его к себе ночевать. Начальник бежал резво, размахивая резиновым плащом, который он нес на молодецки выгнутой руке. Чемодан его, со всеми приложениями, нес Данилов.

– Зачем вы валенки привезли? – спросил он. – Что же вы думаете, нам в армии не выдадут валенок?

– А я, видите ли, никогда не служил, – отвечал начальник, – а показания, знаете, очень противоречивы. Кто говорит – выдадут, кто – не выдадут. А одна дама, знаете, сказала, что валенок не хватит на такую армию, и кому же тогда в первую очередь дадут? Не санитарам, ясное дело. И жена уложила... На всякий случай, а? Будут, знаете, стоять где-нибудь под лавкой, не помешают, а?

– Это конечно, – улыбнулся Данилов.

За ужином начальник с аппетитом кушал, пил и щебетал об архитектуре Ленинграда, а Данилов смотрел на него и думал: «Что мы будем делать с тобой?»

На другой день с утра он пошел договариваться с электромашинистом, – остальные работники были уже набраны, – а начальник отправился на вагоноремонтный завод принимать состав. Предварительно звонили по телефону на завод, в эвакуопункт и на вокзал, и начальник самодовольно сказал Данилову:

– Вы меня найдете на вокзале вместе с поездом.

Данилов пошел на машиностроительный. Накануне он уговорился с директором, что тот отпустит машиниста Кравцова, если сам Кравцов выразит желание служить в санитарном поезде.

Данилов понимал, почему директор так расщедрился. Просто он не прочь освободиться от Кравцова под благовидным предлогом, без скандала. Очевидно, с Кравцовым не все в порядке. Данилов наводил справку в профсоюзе. Там отвечали уклончиво: машинист высокой квалификации, достоин всяких похвал, а так – какой же человек без греха?...

– Он что, выпивает? – спросил Данилов.

– С кем не бывает! – ответили ему.

У дизеля находился помощник; Кравцов завтракал. Он сидел на опрокинутом ящике с бутылкой молока в руке. У него было сухое, изможденное и строгое лицо угодника. Горячий ветер, поднятый дизелем, развеивал седой хохолок над его лбом.

– Ну как? – спросил Данилов. – Согласны в санитарный поезд?

Кравцов поставил бутылку на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. Неподкупно-суровым взглядом он рассматривал Данилова.

– В поезд? – переспросил Кравцов. – Я – хоть под поезд! Выручайте меня отсюда, я тут ни одного дня не желаю быть.

– Что так? – спросил Данилов ласково. – Не поладили?

– Знаете что, товарищ комиссар, – сказал Кравцов, – давайте играть в светлую. Я не мальчик. Это понятно?

– Вполне, – сказал Данилов.

– Я обучил всех дизельщиков, сколько их ни есть в городе. Мне этого не надо, чтобы комсомольцы делали мне замечания.

Он встал и вложил маленькие замасленные руки в карманы широких замасленных штанов.

– В стенгазете – Кравцов. На собраниях – Кравцов. Выговор в приказе – Кравцову. Мне самокритики этой не надо. Я вам заявляю откровенно. Орут, что я в пьяном виде попаду под колесо. Я – под колесо! – Кравцов усмехнулся, как Мефистофель. – А спросите у них: была у нас хоть одна, хоть пустяковая авария с энергией?... Вот сейчас как, по-вашему: я выпивши?

– Немножко, – осторожно сказал Данилов.

Кравцов покачал головой.

– Нет, не немножко, а в самую меру, по утреннему времени. И вот – будет перерыв, и они придут меня нюхать и делать свой замечания. Забирайте меня, товарищ комиссар, к чертовой матери, если, конечно, вас устраивают мой условия.

Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кравцова был холодно-самоуверенный, и взгляд Данилова был холодно-самоуверенный.

– Я вас забираю, – сказал Данилов.

Закончив дело с Кравцовым, он поехал на вокзал. На дальних путях, около какого-то длинного серого забора, стоял новенький блестящий состав: пятнадцать темно-зеленых вагонов с красными крестами, один товарный и маленький желтый вагон-ледник. Стояла охрана – красноармеец с винтовкой.

Начальник был в штабном вагоне. Он ходил по коридору и гремел ключами. Полупудовая связка ключей висела на его согнутом локте. Солнце било во все окна; пахло нагретой краской. Лицо у начальника было сморщенное, потное и счастливое.

– Вот! – сказал он, показывая Данилову связку. – От всех дверей, от всех сердец.

– Все в порядке? – спросил Данилов.

– Ну, а как вы думаете! – сказал начальник. – Там, знаете, целая комиссия была при сдаче.

– И вы все осмотрели?

– Я?... Да.

Данилов пристально поглядел на него. Начальник опустил голову.

Он не осматривал ничего. Ему дали связку ключей, он расписался в акте, влез в штабной

вагон, прицепили паровоз, и начальник поехал, забавляясь мыслью, что он один едет в семнадцати вагонах. Поезд остановился перед серым забором. Паровоз свистнул и ушел, а начальник стал прогуливаться по коридору, нетерпеливо поджидая Данилова. К Данилову он уже чувствовал привязанность.

Данилов сам прошелся по составу. В самом деле, все, по-видимому, было в порядке. Так ему казалось, по крайней мере. Кое-что было непонятно. Например, цинковый ящик с двумя отделениями и откидной крышкой в вагоне-кухне. Над ящиком находились краны, полочки и крюки. Данилов долго стоял и размышлял, для чего этот ящик. Позвал на консультацию Соболя, начальника АХЧ. Вдвоем сообразили: конечно, ящик – для мытья посуды.

В поезд начали сходиться люди. Поезд заселялся. Подъезжали грузовики с тюфяками, бельем, медикаментами. Данилов вместе с Сободем считал, осматривал, распоряжался – куда что поместить. Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, с алчным видом уносила в вагон-аптеку свертки с бинтами и ватой. Аптекарьша залила йодом столик. И аптекарьша и Юлия Дмитриевна сразу надели белые халаты и повязали головы белым, – и стало казаться, что в вагон-аптеку невозможно войти без халата. Кочегары пробовали отопительные котлы кухни и воровали на станции уголь. Девушки стелили постели, запевали песни и посматривали на Богейчука, красавца-старшину. Начальник АХЧ Соболев с Богейчуком и другими людьми сходил на продовольственный пункт и принял продукты. Лена Огородникова шла впереди всех, маленькая, легкая и прямая, с трехпудовым мешком риса на плече.

Рис, сгущенное молоко, шоколад и масло Данилов велел запереть отдельно. На ужин он приказал сварить для всего личного состава пшеничную кашу.

Санитарный поезд вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции; по полдня простаивал на глухих разъездах. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними, неторопливо и неотвратно.

На станциях ставили его на дальних путях, в стороне от вокзальной суеты. На платформах бегали, прощались, ругались, целовались, плакали, махали платками... И в угрюмом молчании смотрели на него люди, когда он проходил мимо них, нарядный и чистый, со своими красными крестами и белыми занавесками.

В ночь, описанную в начале этой главы, санитарный поезд приближался к Пскову.

Данилов шел через вагон команды, возвращаясь с обхода. Вдруг сильный толчок швырнул его в сторону. Он ударился плечом об угол верхней полки. Заскрежетали колеса. Поезд остановился.

– Что такое? – громко спросил впотьмах женский голос.

– Что такое? – спросил в темноту Данилов, высунувшись с площадки.

Покачивая фонарем, вдоль поезда шел кондуктор.

– Красный огонь, – объяснил он, проходя. – Путь закрыт.

Опять вырвался луч прожектора. Теперь, на фоне настоящей ночи, он был слепяще ярк. Беззвучный, перечеркнул он черное небо и медленно шатался вправо и влево, ища и не находя.

Глава вторая

Лена

За десять месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж.

В пригородном поселке был смотр художественной самодеятельности. Среди певцов, танцоров и декламаторов должны были показать свой успехи и поселковые акробаты. Районный совет физкультуры командировал на смотр Лену.

Коммунхоз снарядил грузовик. Лена села в неудобный пыльный кузов на заднюю скамью. На боковых скамьях сели незнакомые товарищи из каких-то учреждений.

Незнакомые товарищи были в кожаных пальто и резиновых плащах, с портфелями. А Лена была в голубой майке, которую она ушила в талии, чтобы лучше обрисовывалась фигура. Рукава майки она засучила выше локтя. Теперь ей хотелось опустить их до самых пальцев, но

она стеснялась. Она сидела одна, вдали от всех, и ее подбрасывало на каждом ухабе. Стриженные волосы секли ее по лицу.

Мужчины громко разговаривали и смеялись чему-то. На Лену они не обращали внимания.

День был знойный. Из-за горизонта лезла лиловая туча. Она поднялась, прикрыла полнеба и, не удосужившись даже закрыть солнце, разразилась ливнем. Водяная стена упала перед глазами. Голубая майка, юбчонка, стриженные волосы – все промокло вмиг. Ручьи заструились по лицу и по спине Лены. Мужчины укрылись с головою своими пальто и плащами и что-то кричали оттуда. Шофер был невозмутим в своей закрытой кабине. Лена мокла и думала: «Какие они все хамы».

Вдруг один из мужчин встал. Не снимая пальто с головы, пригнувшись, он перешел к Лене и сел рядом.

– Давайте-ка вот так! – сказал он и накрыл ее с головой краем своего кожаного пальто.

Она очутилась с ним вдвоем в тесной палатке. Ей пришлось сжаться, чтобы можно было укрыться хорошенько. Ливень барабанил по пальто.

Ей было так холодно и мокро, что она не чувствовала ни малейшего стеснения. Только сердилась, что помощь пришла так поздно. Когда догадался, дурак.

Ее голова была около его груди. Она смотрела вниз и видела только свой стиснутые мокрые колени под натянутой, тяжелой, как брезент, мокрой юбкой да кусок клетчатой подкладки пальто.

И вдруг она услышала у самого уха медленные громкие удары. Это билось сердце. Его сердце.

Она удивилась, прислушалась. Ей-богу, оно сначала не билось. То есть билось, конечно, но обыкновенно, без стука. А теперь оно билось необыкновенно.

Почему оно так бьется?

Ей страшно захотелось увидеть его лицо. Ведь неизвестно, какой он. Может быть, такой, что пусть лучше сердце не бьется? Нет, какой ни есть, а оно все равно пускай бьется.

Оно билось.

Двумя пальцами, не пошевелившись, она проделала в палатке спереди маленькую щелочку, чтобы было светлее, и, осторожно повернув голову, снизу заглянула ему в лицо.

Лицо было затененное, нахмуренное, встревоженное. Черные глаза смотрели вниз, на Лену.

Она поскорее нагнула опять голову и больше не поднимала ее. Теперь в кожаной палатке стучали уже два сердца.

Закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разряды – в себе и в нем.

Горячий вихрь поднимался в ней – стыд, и радость стыда, и гордость, и удивление, и восторг.

Дождь кончился, и он встал.

– Ну вот, – сказал он, улыбаясь как-то растерянно. – Кажется, подъезжаем... А вы сидите, сидите, пока так! – добавил он поспешно и натянул пальто ей на плечо. – Простудитесь...

Но ей было грустно сидеть так одной. Она сбросила пальто и стала отжимать подол юбки. Солнце опять жгло. В грузовике по щиколотку стояла вода. Пахло щедро орошенной землей, мокрой гречихой, мокрой полынью, – чудесный был воздух. И лицо у него чудесное. А чудеснее всего был дождь, только зачем он так скоро перестал: шел бы себе и шел.

Приехали. И ничего не видя, кроме того, что было в ней, забыв о смотре, об акробатах, о том, что она вся мокрая, она сошла с грузовика.

До сих пор Лена не любила никого на свете.

Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у нее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валея. В детском доме было шесть Валентин; для отличия ее стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену.

Она не любила вспоминать. Когда ей было дет шесть, ей удаляли аппендикс. Она лежала в городской больнице, в Детской палате. После наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной, некому было стереть эту слюну с ее губ, а позвать она не могла. Около других детей сидели матери, пришедшие их проведать. Лену положили за ширму. «Не ори, никакой тут боли нет!» – сказала толстая нянька, когда Лена застонала. Лена перестала стонать. Кто-то за ширмой спросил:

– Это чей тут у вас ребенок?

Сиделка отвечала:

– Ничей, это детдомовский.

У матери было плохо. Мать любила выпить: чуть заводились деньги – появлялись водка и огурцы, и какие-то женщины пили, пели, хохотали и давали матери советы:

– А ты на него в центр подай, на подлеца. Ежели он такой подлец, надо в центр подавать, и только.

Подлеца Лена раза два видела. Мать умывала ее, одевала почище и вела на базар к какой-то нэпманской лавочке. Около лавочки, прямо на улице, стояла большая жаровня; в ней, вкусно скворча, жарилась баранина, нанизанная кусочками на деревянные палочки. В лавочке был стол, на нем солонка, перечница в виде бочонка и тарелка с нарезанным зеленым луком. Подлец был хозяин всего этого. Он сам резал мясо, жарил его и подметал пол. Лена и мать садились к столу и ели баранину, снимая пальцами кусочки с палочки. Жир тек по Лениным рукам до локтей, оставляя кривые дорожки. Хозяин подсаживался, утирал пот с лица грязным фартуком.

– Ешь, – говорил он Лене, вздыхая. – Ешь, вот эта помягче будет, – и, выбрав на ощупь, подкладывал ей новую палочку. Он был немолод, с желто-серыми усами, одна нога у него была деревянная.

Мать, вся в жире, как в слезах, говорила:

– Живо-жаль смотреть, одни дети чистые ходят, а другая осень и зиму без башмаков, а чем она хуже?

– Вы ешьте, вот эта помягче будет, – бормотал хозяин, подкладывая ей в тарелку. – А что я сделаю, если у меня полон дом народу? Еще падчерица с детьми приехала гостить, и налог прислали такой, что прямо удивительно, из чего платить, из каких доходов... Баранина подорожала, клиентура плохая, иди в чистильщики, и только.

– Тогда не надо обольщать, не надо заманивать! – говорила мать.

Хозяин глубоко вздыхал и говорил как бы про себя:

– Если б вы могли дать мне доказательства, совсем другой был бы разговор.

– Господи! – говорила мать, прижимая к груди палочку с бараниной.

Лена слушала их и смотрела на перечницу. Даже уходя, она все оглядывалась на перечницу, но попросить боялась.

Перед прощаньем хозяин давал матери денег. Лена шла с матерью в рыбные ряды, мать покупала закуску, потом заходила за водкой, дома опять собирались женщины, пили и пели, и мать, вся красная, кричала:

– Я ему дам, подлецу, доказательства, он у меня узнает, как завлекать, сукин сын, дегенерал собачий!

– В центр, в центр на него подавай! – советовал хор. – Им, брат, потачку давать – они еще и не то будут делать!

Мать служила сборщицей утильсырья. Иногда она исчезала на два, на три дня. Однажды она вернулась с каким-то мужчиной. Они поужинали и легли спать на кровати, а Лену мать положила на стульях, сдвинутых вместе. Утром Лена проснулась, подошла к кровати и стала рассматривать гостя. Он спал с краю, свесив почти до полу толстую руку. На руке налились синие жилы. Пальцы до половины были покрыты густыми черными волосами. Лене стало противно. Она взяла щепку и ударила гадкую руку по синим жилам. Рука продолжала спать.

К обеду мать встала, сбегала в лавку, и они с гостем сели за стол. Лене дали полстакана пива и кусок заливного. Из разговора она поняла, что мать собирается куда-то уезжать. Она

обрадовалась. От пива она сначала стала смеяться, а потом заснула там, где сидела. На другой день мать повела ее на какую-то улицу и показала ей двухэтажный белый дом с облупившейся штукатуркой.

– Сюда придешь, – сказала она. – Заходи себе прямо, без никаких. Скажешь сирота, мол, ни отца, ни матери, никого нет.

Мать испекла пироги, товарки принесли посуду, был большой пир. Мать то плясала, растрепанная, в новой шелковой кофте, то садилась к столу и подпирала щеки кулаками.

– Судьба моя, любовь моя, – говорила она. – И кто его осудит? Тот от своего отказывается, а этот, что ли, подбирать должен? Ежели б он, подлец, платил мне элементы какие следует, а то бараниной, сволочь, норовит отделаться, а я что за дура. У меня еще дети будут.

– Будут, будут, Паша, надейся! – кричал гость, и опять она шла плясать в своей голубой кофте, которая становилась на ней дыбом, как древесная кора.

Лена устала, от гвалта и топота. Она надела свою рваную вязаную шапку, единственную, которую она носила зимой и летом. Взяла баночку от мази и рукоятку от шила – свой игрушки. Потихоньку – никто не заметил – она вышла на улицу и прямо пошла к двухэтажному белому дому с облупившейся штукатуркой.

– Я сирота, – сказала она двум большим стриженным девочкам, которые стояли у ворот, – у меня ни отца, ни матери, никого нет.

Девочки молча, серьезно смотрели на нее сверху вниз. Подняв к ним лицо, она повторяла заученные слова. Одна девочка спросила:

– А тебе сколько лет?

Другая спросила у первой:

– Позвать Анну Яковлевну, да?

Лена заглянула в ворота. Там была площадка и качели, зеленая травка кругом.

– Я сирота, – весело повторила Лена.

Пришла Анна Яковлевна, взяла Лену за руку и повела в дом.

Там Лену окружили взрослые и стали спрашивать: кто ее научил прийти сюда и где она живет. Они были большие; чтобы разговаривать с нею, они посадили ее на стол, а она их все-таки перехитрила.

– Меня никто не научил, – отвечала она, болтая ногами. – Я нигде не живу.

Она понимала, что они хотят отправить ее домой. А ей хотелось остаться в этом доме с качелями и зеленой травкой.

– Я хочу жить тут, – сказала она откровенно.

Взрослые засмеялись, и мужчина в золотых очках сказал:

– Надо заявить в милицию.

Все-таки она ночевала в этом доме, на кухаркиной кровати. Кухарка выкупала ее в корыте и остригла ей волосы. Весь вечер и все утро большие дети качали ее на качелях. Маленьких детей в доме не было.

Кухарка, купая Лену, сказала с негодованием:

– Я бы такую мать мордой об стол... Что она делала с ребенком, что он обовшивел весь?

Пришел милиционер. Мужчина в золотых очках отозвал Лену в сторону и по секрету сказал ей, что милиционеру надо говорить всю правду, иначе будет плохо: милиционер заберет в милицию.

– Ну и пусть! – ответила Лена. – Ну и пусть, а я не боюсь милицию.

И она сказала милиционеру, что она сирота и нигде не живет.

– А что твоя мама делает? – спросил милиционер.

– Собирает тряпки, – ответила Лена.

Все стали смеяться. Так или иначе маму, собиравшую тряпки и имевшую маленькую дочь по имени Валентина, найти не удалось: она уже уехала, и Лену отдали в детский дом для маленьких детей.

Там она жила год. Она была неприхотлива и снисходительно относилась к людям. Ни к

кому не привязываясь и ни от кого не требуя, она прощала всем. То, что ей давали, она принимала с удовольствием, но без благодарности.

Она быстро привыкла к людской заботе и не видела ничего удивительного в том, что ее кормят, одевают, учат читать, что какие-то женщины стирают ее платья и готовят ей пищу, а другие женщины хлопают перед нею в ладоши и поют:

Мы своими ножками
Топ, топ, топ,
А потом ладошками
Хлоп, хлоп, хлоп...

Кроме того, они пели: «Вихри враждебные веют над нами» и «Вставай, проклятьем заклейменный». К пению Лена относилась как к неизбежной повинности.

Через год дом расформировали, и Лену перевели в другой детский дом, в другой город. Тут зима была длиннее и холоднее, и печки топили не углем, а дровами, а остальное было все так же.

Она росла. Девочка Валя – та была раньше, давно, та была другая. Теперешнюю звали Тиной. У нее было жилье и не было дома. Были подруги и не было семьи. О ней заботились, но без нежности. Ее не обижали и не ласкали.

Она аккуратно исполняла все, что от нее требовали; она не любила, чтобы ее бранили. Когда ей было лет семь, к ним назначили нового заведующего, комсомольца.

– Отставить, – сказал он, прослушав песню «Мы своими ножками». – Вы мне из детей кретинов вырастите. Они у вас уже почти кретины. Им нужна физкультура.

Физкультурные занятия Лене понравились. Она была самой ловкой и сильной. Ее стали хвалить, это было приятно. С тех пор она старалась все делать так, чтобы ее похвалили.

В седьмом классе преподавали Конституцию.

Учитель прочитывал статью из Конституции и потом долго объяснял, что эта статья – хорошая и справедливая. Лена смотрела на учителя и думала: зачем он так старается объяснять то, что всем понятно?

Она жила уже в пятом детском доме, была комсомолкой, училась на курсах физкультуры, ее звали Еленой. – Опять он о том же, только с другого конца взялся... Он доказывал, что советское государство – самое правильное в мире... Для Лены не существовало никаких других государств, кроме советского. Она была ребенком этого государства. Оно было ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать: товарищ. От любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она входила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой, – она держалась уверенно, была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел – она начинала дичиться и замыкалась в себе: она не привыкла к таким разговорам.

Два раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно.

Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии.

Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные глупые и добрые глаза и щеки – как окорока. К физкультуре она отношения не имела; от сидения в канцелярии оплыла жиром. Леной она восхищалась.

– Как ты живешь в общежитии! – говорила она. – Ни подать, ни принять некому...

Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы домик в три комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. На Катиной кровати лежало штук пятнадцать подушечек, вышитых мамиными руками. Лена смотрела на эти подушечки, как в детстве на перечницу.

– Да, хорошо ты живешь, – сказала она с невольным вздохом.

– Переходи к нам жить, – сказала ей Катя. – Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься. А то ты – как скелет.

– Переходите, Леночка, к нам, – сказала и Катина мама. – Катечка очень вас полюбила. Нехорошо барышне в общежитиях этих, Не дай бог чего.

Катина мама была тихая, с лицом в лучистых морщинках, с глазами такими же добрыми, как у Кати.

Лена перешла к ним. Ей поставили кровать в комнате Кати. Катя собственными руками переложила на эту кровать половину своих подушечек. Лену поили парным молоком. Жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец.

К Кате ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемухой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза.

Как-то придя вечером домой, она застала Катю в слезах.

– Что ты? – спросила она с искренним участием.

– Ничего, – ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену.

Из соседней комнаты послышалось бормотанье Катининой мамы:

– Это уж я не знаю, что такое, – за добро так отплатить людям.

– Что у вас случилось? – спросила Лена.

– Коли со мной по-хорошему, – продолжала Катина мама, входя в комнату, – то и я обязана поступать по-хорошему, а не так.

– О чем вы? – спросила Лена, не подозревая, что все это относится к ней.

– Мы с вами, Леночка, поступили как с родной, – сказала Катина мама. – А вы вон чего делаете, это разве мыслимо, это только в нынешнее время стали барышни себе позволять.

– Я не понимаю, – сказала Лена, – о чем вы говорите. Я ничего плохого вам не сделала.

– Не надо оправдываться, милая, не надо оправдываться. В таких делах всегда женщина виновата. Парень – что малый телок: его куда потянут, туда он и идет.

– Вы что думаете, – спросила Лена, удивившись, – что я влюблена в Катиного жениха? – Она засмеялась. – Я не влюблена в него!

– Никто, Леночка, вам и не говорит, что вы влюблены, – отвечала Катина мама. – А что он в вас влюбился, так это с вашей стороны, – уж вы нас извините, – вовсе нехорошо и непорядочно.

Катя упала головой на стол и зарыдала.

– Мне это неизвестно, – сказала Лена зазвеневшим от злости голосом. – Ну его к черту, на черта он мне сдался?

– А мы этого не знаем, на черта или нет. Молодой человек, непьющий, интересный, жалованье хорошее...

Лена ушла в комнату, где они спали с Катей, и легла на кровать. Ей захотелось уйти из этого дома.

Вошла Катя, под села и обняла ее.

– Не сердись на маму, – сказала она. – Я знаю, что ты не виновата. Просто все мужчины – подлецы.

Лене вспомнился подлец с бараниной. Она засмеялась. Катя поцеловала ее, гордясь своим великодушием. Они пошли ужинать. Лена пила парное молоко и думала: «Не хочу. Уйду».

Через несколько дней она получила от Катиного жениха записку с объяснением в любви. Она разорвала записку и возвратилась в общежитие.

Второй случай был за полгода до ее замужества.

В общежитии, в нижнем этаже, жили мужчины. Наверху, у женщин, было чисто. На плите стояли блестящие алюминиевые кастрюльки и небесно-голубые чайники. Мужчины жарили яичницу и грели воду для бритвы в эмалированных кружках, закопченных до черноты. Они харкали, плевали и бросали окурки на пол. Лена избегала знакомства с ними.

Однажды, когда она проходила по нижнему коридору, ее остановил какой-то.

– Товарищ, – сказал он глубоким баритоном, – простите, у вас градусника нету?

– Какого градусника? – спросила Лена, остановившись.

– Обыкновенного, измерить температуру, – ответил баритон. – Чувствую, понимаете, что жар, и нечем измерить.

– Сейчас спрошу, – сказала Лена и пошла к себе наверх.

У ее соседки нашелся градусник. Она вернулась вниз.

Баритон доверчиво ждал ее на том же месте. Он поблагодарил и спросил, в какой комнате она живет. Через четверть часа он постучался к ней.

– Тридцать девять и четыре, – сказал он, как будто она его об этом спрашивала. – Вот, будь она проклята, никак с нею не развяжешься.

– А что у вас? – спросила Лена, в жизни не болевшая ничем, кроме аппендицита.

– Малярия.

Он топтался у дверей, ему не хотелось уходить. У него было длинное, худое, горбоносое и вдохновенное лицо.

– И хина кончилась, – сказал он, мученически закинув голову, как Христос, говорящий: «Впрочем, не моя да будет воля, но твоя». – Но я сейчас схожу в аптеку. Я привык выходить с любой температурой, – сказал он и махнул рукой.

Была зима, градусов двадцать мороза. Лена сказала:

– Давайте рецепт, я схожу.

– Ну, что вы! – сказал он. – Зачем это?

– Как хотите, – сказала она.

– Это стоит рубль двадцать копеек, – сказал он и дал ей рецепт и рубль двадцать копеек. Пальцы у него были очень тонкие; доставая деньги из кошелька, он отставил мизинец.

Она принесла ему хину и напоила чаем с лимоном. Ей было жалко его.

Они подружились. Каждый вечер он стучался к ней. Когда он чувствовал себя плохо, она спускалась к нему и ухаживала за ним. Он рассказал ей все о себе. Он был инженер. Она удивилась: она не думала, что инженеры живут в общежитиях вместе с кондукторами.

– У меня была прекрасная квартира, – объяснил он. – Я оставил ее жене.

У него было четыре жены. Все они, по его словам, ушли от него. Уходили они странно: квартира и все имущество оставались у них, а покинутый баритон налегке переселялся в другое, холостяцкое жилье. От двух жен у него были дети.

– Чудесные девочки, – сказал он, вздохнув.

– Почему же, – спросила Лена, – вы ни с одной не могли ужиться?

В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. «Это из четвертой симфонии Чайковского», – объяснил он, кончив свистеть. Потом спросил Лену, любит ли она стихи, и прочел ей стихи Асеева: «Нет, ты совсем не дорогая, милые такими не бывают». Стихи взволновали ее, она никогда не слышала ничего подобного, ее знакомство с поэзией ограничилось хрестоматией для седьмого класса. Стихов он знал уйму и мог читать их в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение... Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыган» и прочитав последние строчки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», он тем же своим прекрасным голосом сказал: «Я вас люблю» и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком. Она вскочила и так оттолкнула его, что этот хилый малярик стукнулся спиной о дверь.

– Сильно! – сказал он после молчания.

Она стояла, выпрямившись и сжав маленькие кулаки, потом легким, быстрым шагом прошла мимо и вышла вон, не поглядев на него.

У себя в комнате она выполоскала рот. Этого ей показалось мало. Она вычистила зубы порошком. У нее было такое чувство, словно она проглотила какую-то дрянь.

И вот пришла любовь.

Такой не было ни у кого.

– Поцелуй меня...

Кого еще целовали так?

– Спи, маленькая. Тебе не твердо на моей руке?

Кого еще берегли так?

– Поцелуй меня...

В первый раз в жизни у нее была своя квартира. Это была всего одна комната, но, господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья! И еще в кухне был шкафчик с посудой. И все это принадлежало ей, а она принадлежала Даниилу, Даниле, Дане, Даньке, – бывают же такие прекрасные имена! Двадцать лет она была ничья и теперь с восторгом шла под руку законного хозяина.

Она считала его пожилым: ему было уже двадцать восемь лет. Ей нравилось, что он уже не так молод: по ее мнению, это и ей придавало солидности.

Ему нравилось делать ей подарки: каждый пустяк она принимала с такой радостью! «У меня никогда не было таких туфель, – говорила она. – У меня никогда не было такого платья». И, тронутый, он говорил:

– Радость моя, у тебя должны быть десятки таких платьев...

Даже обыкновенный шоколад она съедала с таким наслаждением, что приятно было смотреть на нее.

Хозяйничая, она надевала передник, и у нее был такой вид, словно она всю жизнь только и делала, что занималась хозяйством в собственной квартире.

Жизнь оказалась полной счастья и чудес. Любовь преобразила Лену: у нее была теперь другая походка, она по-другому держала плечи. Голос стал грудным и воркующим. Глаза потемнели и сузились. Она светилась торжеством, на нее оглядывались на улице, и это усиливало ее торжество.

Так прошло десять месяцев. Десять месяцев – триста дней, триста ночей.

Его мобилизовали сразу.

Это был страшный день. В первый раз она увидела, что в его жизни первое место занимает не она.

Он двигался по комнате, собирая какие-то свои вещи, и рассеянно отвечал ей...

Она не обиделась. Дело было не в обиде. Просто впервые она увидела его с этой стороны.

Первое место в его жизни занимало какое-то мужское дело, сейчас это дело призывало его. Он еще не ушел, а уже он ей не принадлежал.

Иначе не могло быть. Она закрыла лицо руками. Если бы было иначе, она разлюбила бы его.

Нет. Не разлюбила – разлюбить невозможно; но торжество ее померкло бы. Она была спортсменка, амазонка, победительница в состязаниях, она понимала такие вещи. Торжествовать можно только победу над сильным. Много ли чести победить слабое сердце? У него было сильное сердце. Она гордилась им.

Что-то надо сделать, чтобы он понял, как она все это поняла. Чтобы он ушел довольный ею.

Прежде всего надо скрыть свое отчаянье. Он хорошо держится – просто, спокойно. Шутит. Она тоже может так.

И надо помочь ему собраться. Уселась, сложила руки, как в гостях. Вот он кладет в рюкзак рубашку, а на ней нет пуговицы, она помнит.

– Постой, Даня, я сама.

Она вынула белье из рюкзака и все пересмотрела и починила. Собрала провизию – немного, он так просил. Напомнила взять тазик и кисточку для бритвы. И крем для сапог. И щетку. Уложила конверты, бумагу, спички.

Он сел и смотрел, как она укладывает его вещи. И это тоже так и должно быть: муж сидит, отдыхая, и курит, пока жена снаряжает его на войну.

А когда сборы были закончены и он подошел к ней, чтобы приласкать на прощанье, – она положила его голову себе на грудь и смотрела в его лицо с новым чувством – бесконечной

близости и нежности, от которой разрывалось сердце.

Она была его сестрой, она была его матерью, как прежде она была его любовницей. Она была для него всем на свете.

Она проводила его на вокзал и простилась с ним без слез. Он спросил ее:

– Что ты будешь делать без меня?

Она ответила, виновато улыгнувшись:

– Я еще не придумала.

Он посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула тревога:

– Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да? Она пообещала:

– Нет. Не очень.

– Маленькая, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво.

– Я без романтики.

В последний раз они поцеловались отчаянным поцелуем, после которого невозможно ничего больше говорить. Он вошел в вагон. Ничего не видя, она пошла с вокзала.

Ничего не видя, она вернулась домой. В комнате стояли и валялись вещи... Ничего не нужно, когда его нет. Сколько продлится война? Года два, сказал он. Два года! Когда ни одна минута, прожитая без него, не имеет цены. Она умрет от тоски. Чем жить? Можно задохнуться.

Она сидела на полу среди открытых чемоданов и разбросанного белья. У нее было серое лицо и потухшие глаза. И губы серые. И вот губы улыгнулись. Она подняла заблестевшие глаза. У нее будет та же судьба, что и у него.

Она встала, сняла дорогое платье, в котором провожала его, и надела старую голубую майку, заштопанную на локтях. Ключ – управдому. Другой ключ – Кате Грязновой, чтобы присматривала. И нечего тут сидеть. Только надо все убрать аккуратно: вдруг он вернется раньше нее? Она убрала, вышла из своего рая и отправилась в военкомат.

Данилову понравилась Лена.

– Здорова, – говорил он о ней. – Свободно одна может на руках перетащить мужика.

И Данилов Лене нравился. Собственно, не Данилов, а его фамилия. Все называли его: товарищ комиссар. Она обращалась к нему: товарищ Данилов. Ей было приятно произносить это имя, оно напоминало имя любимого. Данила, Даниил, Даня, Данька...

Данилов назначил было Лену в вагон-аптеку: ему представлялось, что она будет очень ловко подсаживать раненых на перевязочный стол. Но Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, сказала начальнику поезда:

– Прошу вас, товарищ начальник, дать мне другую санитарку.

– А что? – с готовностью осведомился со всеми предупредительный доктор. – Не нравится?

– Да, не нравится.

– Гм! – сказал доктор. – А знаете, мне самому она показалась такой это, а!

Юлия Дмитриевна поджала тонкие, по линейке прорезанные губы.

– Да, вот именно такой.

– Какой-то не такой, а?

– Легкомыслие на лице написано, – процедила Юлия Дмитриевна.

– Да, да, да, легкомыслие, да... Хорошо! – сказал доктор, начальственно кивнув головой. –

Я подумаю над этим вопросом.

И он сказал Данилову:

– Как бы в аптеку поставить другую санитарку, а?

– А что? – спросил и Данилов. – Не справится, думаете?

– Да, не справится. Мы с сестрой присмотрелись – не справится, знаете. Легкость, легкость. Туда надо посолиднее.

Данилов перечить не стал: медицине в таком деле виднее. В вагон-аптеку поставили Клаву Мухину, а Лену перевели в кригеровский вагон.

Она ходила по вагону и без конца приводила его в порядок. То и дело ложилась пыль на

оконные стекла, на лакированные полочки. Лена была немножко обижена, что ее удалили из аптеки. Конечно, это дело рук краснокожего черта – перевязочной сестры. Вот урод, так уж урод, ничего не скажешь. Наверно, ее никто никогда не любил. Так ей и надо. За что она взъелась на нее, Лену? Вот на зло же ведьме вагон Лены будет чище всех. И она ходила целый день с ведром и тряпкой, протирала стекла газетной бумагой, как делала Катина мама, перетряхивала одеяла... Мухи, мухи, откуда они берутся! Ни еды, ни духа человеческого еще нет в вагоне, а вон – пролетела одна, за нею другая... Лена кралась за мухами. Одну поймала, а другая спряталась куда-то, Лена ее не нашла. Клава сделала из бинтов абажуры на лампочки. Абажуры были густо разукрашены фестонами. Лена завидовала, она не умела делать фестоны. Надо будет подружиться с Клавой, чтобы научила. Но Клава день и ночь проводила в вагоне-аптеке, а Лена старалась показываться там пореже, чтобы не встречаться с Юлией Дмитриевной.

...А муж всегда был рядом с нею, никуда не уходил. Правда, она не могла все время, как прежде, разговаривать с ним и рассчитывать каждое движение так, чтобы нравиться ему, у нее было очень много дела, но все-таки она ни на минуту не забывала о его присутствии и то и дело обращалась к нему. «Ну вот так, Даня», – рассеянно говорила она, взбив подушки на койках и любуясь своей работой. «А теперь мы еще разок вымоем пол!»

– говорила она ему. И только когда наступал час отдыха, она уходила вся в тот нежный и лукавый мир, где были только он, она и их любовь.

Но для этого мира оставалось очень мало времени. То на кухню звали чистить картошку, то доктор Супругов читал лекцию о личной гигиене. По утрам комиссар Данилов собирал всю команду и читал вслух сводку, а потом объяснял, какие варвары фашисты, и что все наши неудачи временные, и что в конце концов победит Красная Армия, а гитлеровцы будут разбиты в пух и прах... Лена слушала Данилова и думала: «Зачем так длинно говоришь, – без тебя знаю, что победим все-таки мы, Данька и я, иначе не может быть, иначе Даньку убьют и меня убьют, и нам никогда не будет счастья...» Ее не очень беспокоило то, что немцы берут город за городом. Ну, взяли еще город. Что же делать. Все равно отобьем обратно. Только бы скорей отбить, чтобы скорее вернулась прежняя жизнь и вернулся Данька. Она не получила от него еще ни одного письма, но знала, что он жив.

Ночью Лена спала крепко, ее не разбудил ни обход, предпринятый Даниловым, ни толчок поезда. Она проснулась, когда уже рассвело. Что-то очень хорошее снилось ей под утро.

Она лежала, не открывая глаз, и улыбалась этому хорошему – и тут же, не открывая глаз, вспомнила: ничего этого нет, она в санитарном поезде, едет за ранеными, поезд стоит, – неужели приехали?

Она вскочила и высунулась в окно: железнодорожная будка, да луг, да лес, Птички уже поют в лесу, заря на востоке, розовая-розовая, воздушная-воздушная, плакать хочется, такая милая заря! И по всему небу облака, как розовые перышки, – никогда она не видела такого неба...

«Опять стоим на разъезде. Не торопятся с нами...»

Рано она поднялась. Все спят. До подъема часа два еще... Можно лечь и посмотреть – может, опять приснится что-нибудь очень хорошее...

Но вот комиссар Данилов, он уже встал. Он выходит из вагона-кухни. Лена надела юбку и босиком вышла из вагона. Утро было свежее, птицы пели все громче. В палисаднике возле будки цвел куст сирени – зелени не было видно под огромными лиловыми кистями... Лене захотелось стащить веточку, она стала подбираться к палисаднику.

– Эй, Огородникова! – крикнул Данилов Лене, которая протягивала руку к сиреневому кусту. – Залазь обратно – сейчас тронемся. Отстанешь.

Лена только выпятила губу. Тронемся! Экспресс какой, подумаешь. Что она, на ходу не вскочит, что ли? Она отломила ветку, в лицо ей брызнула свежая влага.

Поезд тронулся. Данилов полез в вагон. Лена нарочно дожидалась, стоя на полотне. Теплый ветер из-под колес бежал по ее босым ногам. Когда последний вагон поравнялся с нею,

она схватилась за поручень, легко подпрыгнула и вскочила на подножку, которая приходилась ей выше колен. Стоя на подножке, она порадовалась на себя – как она ловко вскочила, какая она сильная, как хорошо обдувает ей встречным ветром лоб и грудь... «Видишь, Даня, – сказала она, усмехаясь, – видишь, какая я у тебя...» И, дав ему налюбоваться собою вдоволь, вошла в вагон.

Глава третья Доктор Белов

В Ленинграде санитарный поезд остановился на станции Витебск-сортировочная. Паровоз обещали дать через полчаса; прошло два часа, а его еще не было. Доктор Белов бродил около штабного вагона и бормотал:

– Это же ужас что такое...

Бормотанье относилось не к стоянке. Доктор телеграфировал жене, что будет проездом в Ленинграде, и просил ее приехать на вокзал. Но на какой вокзал их примут, он сам не знал до сегодняшнего утра. И вот теперь ее не было. Это было ужасно. Главное, что она, может быть, уже здесь. Бродит по этой раскаленной, перевитой железом земле и ищет его. А здесь десятки поездов, тысячи вагонов. Она не успеет найти его, как подадут паровоз и надо будет ехать. Доктор мучился. Несколько раз он собирался идти искать жену между составами. Уже отходил от штабного вагона. Но ему становилось страшно: вдруг поезд уйдет без него. Можно, конечно, догнать. Но что скажет Данилов? Данилова доктор побаивался.

Данилов шел мимо, козырнул: он еще не виделся сегодня с начальником. С утра было партийное собрание, выбирали парторганизатора. Выбрали Юлию Дмитриевну, и Данилов за нее голосовал, потому что больше не за кого было, а теперь его терзали сомнения. При всех своих мужских ухватках Юлия Дмитриевна все-таки женщина. А парторганизатору предстоит ой-ой какая возня с доктором Беловым. Про себя Данилов сформулировал задачу так: из доктора Белова надо сделать начальника поезда. Где уж слабым женским рукам осилить такое дело...

Данилов козырнул доктору и мысленно пожалел его. Доктор гулял на припеке в полной форме. Нагрудные карманы его гимнастерки выпирали чугунными четырехугольниками; чего он туда напихал? Из-под блестящего козырька фуражки торчал блестящий нос; по крыльям носа скатывались ручейки пота. Доктор был накален, как крыша.

– Жарко! – сказал Данилов.

– Не говорите, – сказал доктор. – Знаете, сквозь подошву чувствуется, какой горячий гравий.

Данилов внимательно посмотрел себе под ноги: он не знал, что это называется гравий; он любил узнавать такие вещи. Старички-интеллигенты всегда что-нибудь такое скажут.

– Нет, куда это нас поставили? – продолжал доктор. – Это железнодорожные джунгли какие-то. Я – старый ленинградец, но совершенно не знаю этих мест.

Данилов не ответил: не все ли равно, где стоять? Важно ехать и приехать, куда нужно. Он не знал, почему томится начальник. Он не знал, что начальник готов заплакать, как маленький ребенок.

– Иван Егорыч, – спросил доктор, – вы в хороших отношениях с вашей женой?

– Как это? – удивился Данилов. – Она жена; какие могут быть отношения?...

– Нет, знаете, – сконфузился доктор, – я хотел спросить – вы... Ну, одним словом, бывает, что люди прожили вместе тридцать лет, а настоящей дружбы нет все-таки, – ведь бывает?

Данилов отвел глаза.

– Бывает, конечно...

– А бывает и наоборот, – сказал доктор, и вдруг лицо его просияло, засветилось нежностью, гордостью, стыдливым восторгом; Данилов удивился окончательно.

Обогнув хвост соседнего состава, через пути переходила седая женщина, очень высокая, на голову выше доктора. Она была в сером простом платье и черной соломенной шляпе фасона

двадцатых годов.

– Сонечка... – сказал доктор слабо. – Я думал, ты уже не придешь. Иван Егорыч, разрешите представить вас моей жене... Сонечка, это Иван Егорыч Данилов, я бы без него пропал.

Женщина взглянула в лицо Данилову и протянула ему руку. На другой руке у нее висела огромная, раздувшаяся от пакетов сетчатая сумка.

– Пойдем, я тебе покажу мое купе... – бормотал доктор, растерявшийся от счастья. – Ты одна... Дай мне сумку... Ну, конечно, одна... Всегда одна, всегда...

– Игорь на окопах, – отвечала женщина, идя за ним. – А Лялю не отпустили со службы. Я тебе захватила рукавицы, Николай, ты забыл рукавицы.

«Смотри, пожалуйста, как молодой», – думал Данилов, глядя, как доктор подсаживает жену в вагон. У нее на руке от тяжелой сумки был глубокий красный рубец. Рука была морщинистая, бледная, худая.

В купе жужжал вентилятор.

Доктор и его жена сидели на диване. Он держал ее за руку. На столе лежали свертки, вынутые из сумки.

– Сонечка, ты замечаешь, мы с тобой сидим сейчас, как в вечер нашего прощанья, помнишь? А помнишь, я тогда сказал, что это, может быть, уже в последний раз. И вот мы опять так сидим, а? А ведь прошло всего полторы недели, а? Ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы будем сидеть так еще много, много раз. А тебе?

Она поцеловала его в мокрый соленый лоб и сказала ласково:

– И мне кажется. Только дай мне воды. Холодной и побольше.

Доктор вскочил и схватился за голову:

– Милая, прости! Я, по обыкновению, ни о чем не подумал! Ты измучилась! Блуждала по этим джунглям! Искала меня! Боже мой!.. Вот здесь в графине, я сейчас, только она теплая, противная...

Постучали в зеркальную дверь. Толстая румяная Фима в белом сборчатом берете, кокетничая, впорхнула с подносом. На подносе был кофейник, печенье, кувшин с морсом, в кувшине плавал кусок льда. Из-за Фиминого плеча выглянуло еще чье-то лицо. Всем было интересно посмотреть на жену начальника.

Доктор залился радостным смехом.

– Сонечка, это Данилов! Уверяю тебя, это Данилов! Что за человек! Фима, это кто прислал, Данилов?

Наливая кофе в чашки, Фима ответила чинно:

– Начальник АХЧ велел сказать, что через десять минут будет готова свиная отбивная.

– Сонечка, ты подожди пить кофе. Съешь сначала свиную отбивную. Это, конечно, Данилов, а не начальник АХЧ. Начальник АХЧ кормит нас, представь себе, исключительно пшенной кашей, исключительно, исключительно... Я даже не знал, что у нас есть свинина. Это Данилов решил сверкнуть перед тобой. Что за человек! Ах, человек!.. Фима, несите отбивную, несите, несите...

Жена хотела, чтобы и он ел с нею. Слишком жарко, чтобы есть горячий жир, она столько не съест, он ведь знает, что она не может съесть так много... Он отказывался, но когда она протягивала ему кусочек на вилке, он глотал его, полный восторга. Нет, это удивительное, удивительное счастье, что она его нашла!

– Как же ты нашла все-таки? Я бы ни за что не нашел... Милая, я глупости спрашиваю, извини. Что я хотел сказать... Да! Ведь тебя не посылают на окопы?

– Нет. Не посылают.

– Ну, конечно, конечно. С твоим здоровьем...

– Меня никто не посылает. Я сама пойду.

Ее лицо задрожало.

– Бьют нас, ах, как бьют, Николай...

Он растерянно смотрел на нее.

– Бьют, да... Это пока...

– Ах, я знаю, что пока! Я видела человека из Вильны. Такой ужас, что... Я не хочу говорить. Спрашивай дальше. Что ты еще хочешь спросить?

– Ляля и Игорь...

– Ляля служит. Говорит, что их, должно быть, тоже на днях пошлют. Игорь уехал с первой партией.

– Куда?

– На Псков.

Она плакала. Он выпустил ее руку и смотрел на нее со страхом. Прежде она никогда не плакала. Прежде он ревновал ее к сыну. Сын был неудачный – лентяй, грубый, вечно шатался бог знает где; доктора обижало, что она все прощает сыну и оставляет для него лучшие куски, обделяя дочь. Теперь он понял – так ему казалось: она знала, что сыну предстоит особая доля, военная доля; она ведь часто говорила: «Ничего, кончит школу, пойдет в армию, там его вышколят». Она знала, что ему предстоит с первой партией рыть окопы; вот она и жалела его и баловала...

– Сонечка, не плачь! – взмолился доктор. – Ну что ты плачешь, девочка, словно его уже убили!

– Я не о нем плачу. Я и сама бы поехала, если бы не работа. Я плачу потому, что не могу я слышать эти сводки.

Да, работа, он про работу ничего не спросил.

– На работе все то же. Иногда зло берет: такое время, а они зубы себе вставляют. Одна дура принесла золото. У нее два зуба из стали, она желает заменить золотыми. Я не выдержала, сказала: другого времени не нашли менять. Она обиделась, пошла искать другого протезиста. Черт с ней.

– Черт с ней, – повторил он машинально.

Они замолчали и долго сидели молча, глядя друг на друга добрыми заплаканными глазами. Кофе в чашках подернулся белой пленкой, они о нем забыли. Забыли и о морсе.

Опять постучали. Вошел Данилов. Извинившись, сообщил, что сейчас будут прицеплять паровоз.

– Что? – спросил доктор. – Уже? Значит, едем, Сонечка...

Данилов вышел, чтобы не мешать супругам проститься. Потом жена доктора ушла. Она шла между путями – высокая, чуть-чуть сутулая, под старой черной шляпой – седые волосы. Доктор маленький, возмужавший от военной формы, семена ногами, шел с нею рядом – провожал.

До войны доктор писал дневник. В глубине души он чувствовал себя литератором. Ведь были врач-писатели: Чехов, Вересаев. Ну, может быть, он не беллетрист, а публицист, как... – Марат, – подсказала Сонечка, когда он однажды поделился с нею этими мыслями. Доктора обидела ее насмешка, и он не признался ей в том, что ведет дневник. Он писал, скрываясь. Особенно стеснялся детей. Он не знал, что жена и дочь тайком друг от друга вытаскивают его тетради из ящика и прочитывают все от слова до слова.

Было приятно писать потому, что каждое мелкое событие в литературном изложении приобретало значительность, а иногда даже грандиозность. Если доктору случалось писать о ком-нибудь из знакомых плохое, он не называл настоящих имен, заменял условными буквами – NN. X, 2. Он боялся, чтобы люди, которые приходили к нему играть в преферанс, не были опорочены после его смерти, когда его записки будут обнаружены и опубликованы. Уезжая из дому, он уложил дневник в папку, папку обвязал веревочкой и запечатал сургучом.

– Сонечка, – сказал он, подавая жене папку обеими руками, как образ, – это прошу хранить и вскрыть только в случае... Ты понимаешь, в каком случае.

В поезде, после встречи с женой, ему опять захотелось писать. Он открыл толстую, еще не начатую тетрадь, с удовольствием понюхал ее клеенчатый переплет, вздохнул и написал:

«2 июля 1941 года. Приходила Сонечка».

И сразу ему расхотелось писать. Поезд шел. В купе было прохладно. Жужжал вентилятор... Вот здесь она сидела в уголке. Попала она в трамвай или еще ждет?... Доктор положил лоб на тетрадь и долго сидел так, не шевелясь.

«Странный человек NN, – писал доктор на другой день, справившись с собою. – Я понимаю И. Е. Данилова, понимаю нашу симпатичную, хотя суровую хирургическую сестру. Понимаю эту девицу в берете, которая заботится обо мне и больше всего довольна, когда я похвалю фасон, которым сложена салфетка, понимаю пьяницу 2, понимаю каждого человека в поезде, но вот NN я никак не могу понять. А ведь он самый близкий мне здесь человек, во всяком случае Должен быть самым близким. Ведь мы люди одной профессии, мы могли бы беседовать часами, но мне почему-то совсем не хочется беседовать с ним. Он угощает меня папиросами, и так это вежливо, но за этой вежливостью ничего нет. Я заговаривал с ним о текущих событиях; он говорил о них совершенно теми же словами, которые мы видим в официальных газетных сообщениях. Заговаривал по вопросам нашей практики; он соглашается со мной, какую бы глупость я нарочно ни сказал. Спрашивал его о семье: он холост, живет со старухой-матерью. Кажется, он библиоман: у него своя библиотека; я просил почитать что-нибудь, он смутился, замялся, обещал дать книгу и до сих пор ничего не дал. Нельзя назвать его нелюдимым: он заговаривает с людьми, но предоставляет им высказываться, а сам поддакивает. Замечаю, что И. Е. его не любит».

Доктор обмакнул перо, вспомнил, как писали о своих героях старые романисты, и приписал:

«В нем есть что-то загадочное и отталкивающее».

Старшая сестра Фаина тоже находила Супругова загадочным. Но не отталкивающим. О, нет! Именно эта загадочность привлекала Фаину.

– Доктор, – говорила Фаина Супругову, толкая его горячим плечом, – ну о чем вы все время молчите? Я хочу знать. Поделитесь со мной.

Фаина была на полголовы выше Супругова, пышная, цветущая, шумная. Может быть, при других обстоятельствах ее внимание польстило бы Супругову. Но теперь ему было не до того.

Супругов боялся. В этом была вся загадка.

Он боялся иступленно.

Специальность у Супругова была тихая: ухо, горло, нос. К нему приходили дети с полипами в носу и оглохшие старики. Супругов делал значительное лицо, смазывал, чистил, прижигал, но он знал, что и с глухотой больной проживет еще двадцать лет, и у него не было той активной жалости и уважения к чужому страданию, какие бывают у хирургов, педиатров или универсальных сельских врачей. Не было у Супругова и привычки к виду страдания и смерти. Его пациенты болели без мучений, они испытывали неудобства, а не боль; а умирали они без участия Супругова, от каких-то других болезней... Супругов был доволен, что у него такая чистая работа. Сам он лечился от каждого пустяка. Однажды у него был нарыв на пальце. Он вспоминал об этом с содроганием: это было ужасно! Мать удивлялась его стонам:

– Неужели так больно?

Это была беззаботная старушка. Она родила за свою жизнь семерых детей и шестерых схоронила, много видела боли и скорби и все-таки до семидесяти лет сохранила в глазах тот живой огонь, которого был лишен Супругов. В старости она стала несколько легкомысленной, пристрастилась к лото и цирку и хозяйством занималась невнимательно, но в общем они с сыном жили припеваючи.

Супругов коллекционировал книги, скульптуру, красивую посуду и изделия палешан. У него в кабинете стоял шкафчик с китайским фарфором и венецианским стеклом. Не то чтобы он очень понимал в китайском фарфоре, в изделиях палешан или в стихах Верхарна, а просто ему нравились изящные вещи, и он украшал ими свою квартиру. Он аккуратно ходил на все заседания, на которые его приглашали, и на новые спектакли, и к знакомым в гости, он слушал радио, читал газету, выписывал специальные издания, но больше всего он любил сидеть дома в одиночестве, покуривать и рассматривать свой коллекции.

– Хоть бы ты женился, Павлик, – говорила мать, возвращаясь за полночь домой. – Все ты один да один!

Но он не хотел жениться. Бог с ними, с женщинами. Он не позволял себе с ними ничего, кроме комплиментов: столько приходится слышать о неудачных союзах, разводах, семейных недоразумениях... А венерические болезни? Боже сохрани! И потом, разве он один? Большую часть времени он проводит в коллективе... Когда-то, в ранней молодости, он отдал дань любви. Он имел два романа, и что же? Оба закончились ужасными неприятностями... И довольно, довольно с него.

– Не нравишься ты мне! – чистосердечно признавалась мать, глядя на него с сомнением.

Посмеиваясь, он целовал ее мягкую белую щеку: бедная мамочка, она выживает из ума. Как может не нравиться такой сын? Он дает ей все необходимое для жизни, вплоть до билетов в цирк. А ведь выбивался из нужды. Отец приказчиком служил в обувной лавке. А вот он – Павел Супругов – врач, интеллигентный человек, ценитель искусства. Говорят – советская власть открыла двери... Но и своя голова должна быть у человека на плечах.

Он был совершенно доволен своей жизнью, Был ли он так же доволен собой? На этот вопрос он не мог бы ответить определенно. Скорее – нет, не был. Что-то было в нем неблагополучно, чего-то недоставало, а чего – он не знал. Он никому ничего не мог *приказать*, он мог только *просить*. Другие приказывают, и их охотно слушают. Как это человек приказывает? Почему его слушают? Почему он, Супругов, никому не смеет приказывать? А если бы и посмел – его бы не послушались, только удивились... Почему другие спорят, а его всегда так и подмывает поддакнуть собеседнику, если даже он с ним не согласен? Только в крайнем волнении он решается возражать, да и то до тех пор, пока на него не прикрикнут... Почему другие люди говорят друг другу резкости и не обижаются, а его, Супругова, болезненно обижает каждый пустяк?

Чтобы не давать повода для обид, он старался быть как можно вежливее, угощал всех папиросами и везде, где мог, обещал «поблагодарить».

Другие держатся в жизни, как хозяева. А он стоит у порога, как непрошенный гость. Почему?

Он не понимал, почему.

Впрочем, он старался не думать об этом. Ему и так хорошо. У него есть все: солидная профессия, прочное положение, чистая репутация. И эти милые безделицы, которые украшают существование. Что еще нужно для счастья, в конце концов?

Война с первых дней все исковеркала. Все полетело к черту – уверенность, покой, солидность. Человек привык слушать жизнь, как скрипку, и то через стену; и вдруг она забила в барабан у самого уха.

Его мобилизовали. Позвольте! У него слабое здоровье! Что ж, он будет служить в санитарном поезде. Но он не хирург! Он не умеет извлекать пули и накладывать гипс!.. Это сделают другие; а он будет возить раненых и смотреть за ними в дороге, чтобы не болели, чтобы выздоравливали. И пусть не беспокоится – при надобности его научат и пули извлекать...

Но он не хочет, чтобы его изувечили! Он боится бомб! Боится страданий!

– Повоюй, Павлик, ничего; надо воевать, – бормотала мать, собирая его. Голова у нее тряслась. Он не сказал ей о своем ужасе. Он ненавидел ее в эти дни. Он всех ненавидел. Зачем они притворяются, что не боятся?! Они все знают так же, как и он, и о фугасах, и о разрывных пулях, и об иприте, и о звериной жестокости врага. Как они смеют делать вид, что им не страшно?! Как они могут смеяться, говорить о житейских пустяках, есть мороженое, ходить в театр, когда внутри у них воеет: ууу!

Но все словно сговорились притворяться. Они притворялись так искусно, что даже он поверил, будто они действительно не боятся. Приходилось притворяться и ему. И он навязчиво угощал папиросами, говорил о пустяках, старался не выдавать себя. По ночам он не спал. Поезд шел к фронту. Супругов курил и седел. Доктор Белов рассказывал ему случаи из своей практики. Фаина заигрывала с ним. Монтер Низвецкий приходил за врачебным советом.

Супругов любезно отвечал им всем, а обезумевший зверь выл не переставая: ууу!

Соболь, начальник АХЧ, терзался сомнениями: открыть начальнику поезда истинное положение вещей или предоставить времени обелить его, Соболя, и разоблачить Данилова?

Не Соболь виноват в том, что персонал санитарного поезда кормился пшенной кашей и чахлыми диетическими супчиками. Это Данилов так распорядился. Он сказал Соболю:

– Слушай. О том, что у тебя есть мясо, сливочное масло, какао и прочие деликатесы, – забудь.

– Навсегда? – спросил Соболь. – Или, может быть, иногда можно вспоминать?

– Я тебе скажу, когда надо будет вспомнить, – пообещал Данилов.

На четвертый день пребывания в поезде доктор Белов, смущаясь, сказал Данилову:

– Что-то у нас неладно с питанием, знаете. Люди недовольны. Надо бы пошевелить нашего начальника АХЧ.

– Начальник АХЧ ведет правильную линию, – отвечал Данилов. – Неизвестно, в какую обстановку мы попадем в ближайшее время, и где получим продукты, и какие, и сколько. А нам предстоит кормить раненых.

И, играя носками начищенных сапог, он закончил:

– Я, считаю, что Соболь совершенно прав.

– Да, да, – заторопился доктор, сконфуженный мыслью, что Данилов может принять его за себялюбца и лакомку. – Да, действительно, неизвестно, где и что, Соболь прав...

И все ругали Соболя, все, начиная от сестры-хозяйки, которой Соболь отвечивал пшено по утрам, и кончая Кравцовым. Кравцов не снизошел до личного объяснения, но передал через Кострицына, что набьет Соболю морду, если тот не прекратит свой хулиганские штучки.

Вот тогда Соболь задумал пойти к доктору Белову и все ему рассказать начистоту. Соболь понимал, что Кравцов не из тех людей, которые шутят. Соболя влекло под защиту доктора. Он стал попадаться доктору на глаза по нескольку раз в день. Доктор смотрел на него юмористически: его забавляло, что Соболь все считает. Закатив глаза, Соболь считал вполголоса:

– Сто двадцать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, округляем, получаем восемь кил.

На счетах он считал плохо, делил и множил в уме.

Он так и не решился подойти к доктору. Он не знал, как комиссар отнесется к такому выпадку. У комиссара были холодные глаза и маленький жесткий рот. Морду бить он не будет, но кому охота портить отношения с таким человеком?

«Интриган», – думал Соболь о Данилове.

Он нашел выход. Воспользовавшись моментом, когда в штабном вагоне обедали, он достал из кладовой банку паштета, отрезал кусок масла и отсыпал сахара. «А что я могу сделать?» – шептал он. Сосчитал куски сахара – оказалось сорок два. «Жирно будет», – подумал Соболь и двенадцать кусков – самые большие – положил обратно. Спрятав все в карман, он пошел к Кравцову. Кравцов спал в вагоне команды, на верхней полке, укрыв лицо газетой, – только борода торчала из-под газеты... Внизу спал Сухоедов. Больше никого близко не было.

Соболь осторожно потолкал Кравцова.

– Товарищ Кравцов, – зашептал он, когда Кравцов сдвинул газету с лица и взглянул на него заспанным глазом. – Вы напрасно сердитесь, я абсолютно ни при чем.

– Что ты тут строишь? – спросил Кравцов, садясь на полке и глядя на припасы, которые Соболь выкладывал ему на колени. – А, боже мой: что я, грудное дитя, чтоб сахар сосать?

Но, смягченный смирением Соболя, он простил его.

Соболь успокоился. Ему даже стало нравиться, что его считают влиятельным лицом. Он стал пошучивать с женщинами, чего не было в первые дни.

– Ах, витязь, то была Фаина! – говорил он, встречаясь в коридоре со старшей сестрой.

Данилов, услышав, спросил:

– Что это значит?

– Тут я меньше всего при чем-нибудь! – сказал Соболев и поднял обе руки. – Это сочинил Пушкин.

А война шла, враг продвигался в глубь страны, по русским дорогам неслись его мотоциклы, над русскими городами летали его самолеты.

– Вы заметили? – сказал доктор Белов Данилову. – Наши люди смеются. Острят. Как ни в чем не бывало.

Данилов кивнул:

– Что ж, это хорошо.

Подумав, повторил:

– Хорошо, что острят. Нехорошо то, что не представляют себе размеров бедствия. Вот и Сталин говорил, а они все равно недостаточно представляют. Мы здесь, в поезде, в какой-то строгой изоляции без поражения в правах.

Доктору вспомнилась Сонечка, ее слезы. Он затуманился:

– Вы думаете – бедствие так огромно?

Данилов усмехнулся невесело:

– Чего же тут думать? Видно. – Он говорил медленно, прикусывая губы, и видно было, что ему больно говорить. – Конец не скоро. Края не видать. Только началось...

– Наш народ, знаете, – сказал доктор, – пойдет на любые жертвы.

– Какие жертвы? – спросил Данилов. – Жертва приносится кому-нибудь, правда? Самому себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функция народа, ваша функция, моя функция, девочек этих функция. Подвиг для нашего народа не жертва, а одно из его повседневных проявлений. Чтобы мы могли жить дальше как советский народ, часть из нас должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Иванова. Это – жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову? Вы извините, я, может, не очень ясно выражаю свою мысль...

– Нет, я вас очень хорошо понимаю, – сказал доктор, – и, пожалуй, готов согласиться с вами. Но подвига я вам не уступлю. Вы мне не докажете, что подвига не существует, что это какая-то там функция. Подвиг – это, знаете, красота человеческая, взлет человеческого духа, и не всякий способен на подвиг, к нему талант надо иметь.

– Таланты развиваются, – сказал Данилов. – В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант не господом богом вдувается в человека, он создается воспитанием, средой... обстановкой, – сказал он, сердито скользнув глазами по тесному, как коробка, купе.

Доктор покачал головой. Он не был согласен с Даниловым. По его мнению, Данилов упрощал вопрос. Этак из каждого можно сделать Героя Советского Союза.

– В Советском Союзе, – сказал Данилов, – из каждого можно сделать героя.

– У нас двести миллионов населения, если не ошибаюсь, – сказал доктор. – Что же, двести миллионов героев?

– Вполне возможно.

– Двести миллионов минус один, – сказал доктор шутя. – Из такого старого мешка, как я, не сделать героя.

– Двести миллионов минус один, – сказал Данилов. – Двести миллионов минус Супругов.

Они засмеялись. Серьезный разговор закончился шуткой.

С того часа, как Сонечка приходила в поезд, одна мысль не оставляла доктора.

Он мог думать сколько угодно о служебных делах, о положении на фронте, о Супругове, о Соболе, он мог есть, спать, писать дневник, разговаривать, шутить, огорчаться, – а эта мысль держала его душу обеими руками и время от времени сдавливала побольнее – чувствуй! Не забывай!

Это была мысль о сыне.

По вечерам доктор оставался один. Он снимал военную форму, в которой было так жарко. Надевал полосатые летние брючки и ложился полуодетым (на случай бомбежки: не

выскакивать же тогда в белье, ведь кругом женщины).

Он ложился на широкий плюшевый диван, закрывал глаза, и сейчас же сын садился рядом, и они разговаривали.

(Когда-то было наоборот: сын лежал в кровати, барахтался и шалил, а доктор сидел рядом и уговаривал сына спать.)

– Игорек, – спрашивал доктор, – как же это вышло, милый, что мы с тобой разошлись? Был мальчик, прекрасный мальчик.

Двухлетний, он забрался на крышу флигеля по лестнице, которую оставили кровельщики. Дети со двора позвали Сонечку, она выглянула в окно и увидела Игоря – он сидел на краю крыши и болтал ногами. Сонечка ахнула, ей стало дурно... Соседка полезла за ним – он вскочил и побежал вверх, к трубе, и когда соседка схватила его, он ревел и колотил ее ногами: ему не хотелось вниз.)

Соседка говорила – нужно отшлепать хорошенько, чтобы другой раз неповадно было лазать, куда не след. Но Сонечка только целовала сына, и доктор, когда пришел домой и ему рассказали, тоже целовал: подумать только, – всего два года мальчишке...

Годом позже. Доктор шел по Карповке (они тогда жили на Карповке, по улице Литераторов), вел Игоря за руку. За другую руку Игоря держала Ляля, ей было тогда семь, нет, восемь лет. Из подворотни выскочила собака, стала лаять. Ляля выпустила руку Игоря, зашла за спину отца – спряталась. Игорь вырвался от отца, побежал к собаке и залаял на нее: ав, ав! И собака испугалась и убежала в подворотню.

Его еще в платьицах водили тогда, на нем было голубенькое какое-то платьице и фартучек, и волосы у него вились, как у девочки...

Смелый, чудесный был мальчик.

Данилов говорит, что смелость дается воспитанием. Может быть, может быть. А кто в двухлетнем Игоре воспитывал смелость? Тут что-то не то. Может быть, есть две смелости: одна – привитая воспитанием, другая – врожденное свойство характера...

Неважно, в конце концов. Важно то, что Игорь, сын, был смелым от рождения.

Не только смелым. Чутким, тонким, вообще – необыкновенным...

– Завтра у нас будет стирка, – говорили в доме. – Надо купить щелоку, завтра будет стирка.

И на другой день приходила женщина, которая стирала у них белье, и Игорь думал, что это ее имя – Стирка, и так и звал ее: тетя Стирка. Он подпрыгивал около нее и заглядывал в лохань, – там было столько пены и пузырей!

Однажды Стирка привела свою девочку, годами тремя постарше Игоря. Девочка научила его играть в кремешки, в крестики и нолики. Игорь обожал эту девочку. Он все обнимал и целовал ее. Сонечка приревновала, спросила:

– Да ты кого больше любишь, меня или Лиду?

Он ответил:

– Конечно, Лиду.

А потом стали пропадать игрушки. Сонечка молчала, у нее не хватало духу огорчить сына. Наконец она не выдержала.

– Игорек, Лида нехорошая, – сказала она. – Ты ее так любишь, а она украла у тебя все лучшие игрушки.

Он ничего не сказал, ушел в столовую, сел с ногами на большой диван и долго сидел так. И глаза у него – рассказывала Сонечка – были удивленные и печальные.

Потом он слез с дивана, подошел к Сонечке и сказал:

– Пусть не считается, что она украла. Хорошо? Пусть считается, что я ей подарил. И пусть она приходит.

Лида пришла.

Сонечка слышала, как Игорь сказал ей, оставшись с нею вдвоем:

– Хочешь – бери мой игрушки. Какие хочешь. Хоть все. Мне они не нужны.

Мальчик, мальчик...

В шестилетнем возрасте он украл у матери деньги.

У него были красивые локоны, бледно-золотые. Сонечка берегла их и не стригла. Он просил остричь, потому что его во дворе дразнили девчонкой. А Сонечка в материнском тщеславии и эгоизме говорила:

– Не обращай внимания, они ничего не понимают. Еще год походи так, только год!

И вот он исчез со двора и явился наголо остриженный и благоухающий цветочным одеколоном.

– Где это тебе сделали?! – спросила Сонечка, глядя во все глаза на его сразу поглубевшее и подурневшее лицо.

Она чуть не плакала.

– В парикмахерской, – ответил он. – Я дал им три рубля, и они меня всего полили духами.

– Где же ты взял три рубля?

– Я украл у тебя из сумочки, – ответил он.

– Зачем же ты украл? – спросила она, ужасаясь. – Ты должен был попросить, я бы тебе дала.

Он покачал головой:

– Неправда. Не дала.

И она его больше не упрекала, она гладила его круглую плюшевую мальчишескую голову, и оплакивала его кудри, и целовала, целовала, – безрассудная, без памяти любящая мать...

В школе его так же баловала молоденькая учительница. Он хвастал:

– Все сидят и решают задачу, а я хожу по классу и смотрю, кто как решает.

– А сам не решаешь?

– Я раньше решил.

– Как же учительница позволяет тебе гулять по классу?

– Потому что она меня любит, – отвечал он.

Как случилось, что сын стал уходить из его сердца?

С некоторых пор доктор стал замечать, что его раздражает это безумное баловство, эта атмосфера обожания, которой окружен в доме Игорь.

Сонечка, придя с работы, сидит до трех часов ночи и чертит Игорю чертежи, потому что ему лень, а завтра надо сдавать. Безобразие.

Неслыханное дело: мальчик ходит в школу, когда ему хочется. А чаще ему не хочется. Он приходит с катка или из кинематографа в двенадцатом часу, утром ему трудно подняться рано... И мать – какая мерзость! – пишет в школу записки, что у сына болела голова.

Кого она хочет сделать из Игоря? Принца? Босняка?

Ему было обидно за Лялю. Девочка отлично учится, ласковая, веселая, прекрасный характер. А на ее долю не приходится и половины той любви, какую пользуется Игорь.

Ляля встречает отца в передней, кричит на всю квартиру: «Папа пришел!» – и воркует и ласкается. А Игорь выйдет к обеду – мрачный, лохматый, за столом сидит развалившись, на замечания отвечает грубо...

А Сонечка все замечания пропускает мимо ушей.

Ссориться с Сонечкой он не мог. Сонечка есть Сонечка. Это святыня, ее невозможно оскорбить. В Игоре его все раздражало. Как он сидит! Как отвечает матери! Какой он неласковый, холодный, надменный какой-то...

Один раз доктор сорвался в присутствии Игоря.

К обеду была вареная говядина. Ляля любит мозговую кость. И Игорь любит мозговую кость. И всегда почему-то эта кость доставалась Игорю. И на этот раз досталась ему.

– А нельзя ли, – сказал доктор негромко, – дать сегодня, в виде исключения, мозговую кость Ляле?

Сонечка сделала вид, что не слышала. Ляля сказала весело (милая девочка): «Ну, что ты, папа! Пусть Игорек ест, я уже большая!» Игорь поднял глаза от тарелки и задумчиво, с циничным (да, да, циничным!) любопытством посмотрел отцу в лицо... Потом он спокойно принялся выковыривать мозг из кости. Доктор сидел красный и удрученный...

С этого дня Игорь стал его избегать. Стал избегать отца, да, очевидно, он сделал из этого инцидента какие-то свои выводы. Ведь мальчику всего пятнадцать лет... И доктор не пришел к нему, не объяснился. Боже мой, боже мой. Как глупо, мелочно, нелепо. Какое ужасное недоразумение...

В день его отъезда на вокзале – теперь доктор это вспомнил – Игорь, стоявший сначала поодаль, подошел вдруг близко и стал рядом. А когда прощались, Игорь нагнулся к нему, вплотную взглянул в его лицо и сказал сухо, твердо: «До свиданья, папа». И глаза у него были новые, резко-пронзительные глаза... Это было прощанье? Прощенье? Примиренье? Что это было?... Вот тогда он должен был прижать к себе Игоря и сказать: «Игорек, мальчик мой, все, что было между нами, – все зачеркнуто навсегда, а вот перед нами чистая страница, и мы ее будем заполнять вместе, ты и я...»

– Игорек, все, что между нами было, – ложь, а то, что сейчас, – настоящая правда, и мы вместе перед этой правдой, я и ты...

Глава четвертая Юлия Дмитриевна

– Сестра Смирнова забыла вложить мандрен! – сказала Юлия Дмитриевна старшей сестре Фаине и многозначительно сжала тонкие губы.

Фаина была занята своими мыслями и своим делом – она перед дверным зеркалом накручивала себе на голову тюрбан из марли. Она невнимательно взглянула на шприц, который торжественно, как улику, показывала ей Юлия Дмитриевна.

– А зачем вы ей давали шприц?

– Она делала укол монтеру. У него ужасные боли – геморрой. Доктор Супругов велел впрыснуть пантапон.

Фаина поморщилась: она питала отвращение к безобразным болезням. Всего дня два назад она подумала, что монтер Низвецкий – довольно интересный молодой человек. И вдруг – здравствуйте: геморрой. Низвецкий перестал существовать для Фаины.

– Этот поезд – прямо собрание каких-то стариков и калек, – сказала Фаина.

Но Юлия Дмитриевна развивала свою тему:

– Если сестра забывает вложить мандрен в иглу, из нее никогда не будет толку, я вас уверяю.

Фаина достроила свой головной убор, сделала сама себе томные глаза и повернулась к Юлии Дмитриевне. И, как всегда, ужаснулась безобразию хирургической сестры. До чего дурна, бедняжка!

– Вы слишком переживаете всякие пустяки, – сказала Фаина ласково. – Поберегите нервы, нам много тяжелого предстоит.

Юлия Дмитриевна подняла брови. Собственно, бровей не было: были две припухшие красные дуги, поросшие чем-то похожим на щетинку зубной щетки.

– Это не пустяки. Разве вы не знаете, что без мадрена игла может заржаветь?

– Я знаю! – отвечала Фаина в порыве горячего женского сострадания. – Но вы не переживайте, голубчик. Честное слово, не стоит.

Зубные щетки полезли еще выше.

– А кто же будет переживать? Я должна переживать!

«Ненормальная», – подумала Фаина. Порыв прошел, ей стало скучно.

– Я вам буду обязана, Фаина Васильевна, если вы со своей стороны сделаете замечание Смирновой. Если так будет продолжаться, мы не сможем доверить ей ни одного предмета из перевязочной.

– Хорошо, я скажу ей, – уже с раздражением ответила Фаина и вышла.

«Пошла показывать себя в тюрбане», – безошибочно определила Юлия Дмитриевна.

Юлия Дмитриевна осталась одна. Она с удовольствием оглядела свое маленькое сверкающее царство. Все есть, и все на месте. Вот здесь – инструменты для костных операций,

здесь для трахеотомии. В стенном шкафу – стерильные халаты. В биксах – стерильные салфетки. Немножко тесно: втроем – и то повернуться трудно, зато все под рукой. Полное удовлетворение было в душе Юлии Дмитриевны.

И какая предусмотрительность. По положению, операции в поезде не производятся, только перевязки. И все-таки, смотрите, как подобран инструментарий, ничто не забыто, можно сделать в случае нужды любую операцию, вплоть до трепанации черепа. Да, здесь можно работать. Здесь будет приятно работать! И комиссар – достойный товарищ, и врачи такие симпатичные, особенно Супругов.

В Супругова Юлия Дмитриевна была влюблена.

Она всегда была влюблена в кого-нибудь. Попадая в новую обстановку, она осматривалась и намечала себе: «Вот в этого я влюблюсь». И сейчас же влюблялась.

В городской больнице она была влюблена в профессора Скудеревского, с которым работала четырнадцать лет. На глазах у нее он состарился, получил два ордена, начал и закончил большой труд об удалении раковых образований, заболел бруцеллезом и вылечился от него, – а она все его любила.

Раза три или четыре она изменила профессору ради молодых ассистентов. Но старое чувство брало верх, и она, браня себя за ветреность, возвращалась к нему.

Он ни о чем этом не подозревал. Ассистенты тоже. Никто не подозревал. Никто не считал Юлию Дмитриевну женщиной. Профессор Скудеревский остолбенел бы, если бы узнал, что она влюблена в него. С нею никто никогда не заговаривал на интимные темы.

Только однажды профессор сказал ей:

– Хорошо, что вы не замужем.

(Ему никто об этом не сообщал – это было ясно само собою.)

А у нее замерло сердце.

(Хотя она знала, что он женат, недавно праздновал серебряную свадьбу и имеет внуков.)

– Почему? – спросила она.

– Я не мог бы работать с замужней сестрой, – ответил он. – Хирургическая сестра должна отдавать себя работе целиком.

В этот вечер она медленно шла домой по темному пустынному бульвару и повторяла про себя этот короткий разговор. Она думала, что ради страдающего человечества она пожертвовала личной жизнью. Нет, не так: ради него, профессора Скудеревского, она отказалась от супружества и материнства. Так получалось печальнее и слаще. Ради него. Ради любви к нему...

На финском фронте она была влюблена в бригадного врача. Но финская кампания была короткая, и любовь пролетела, как сон.

В санитарном поезде выбор Юлии Дмитриевны некоторое время колебался между Даниловым, начальником и Супруговым.

Данилов был забракован первым.

«Недостаточно тонок», – решила Юлия Дмитриевна.

У начальника были черты, роднившие его с незабвенным профессором Скудеревским: седина, мешочки под глазами, приятный голос.

«Нет, – подумала Юлия Дмитриевна, – в военное время с начальником не должно быть никаких других отношений, кроме служебных».

Оставался Супругов.

Это не мешало ничему. Она неутомимо работала, крепко спала и ела за четверых.

Если бы ей сказали: хочешь, у тебя будет муж, красивый и любящий, только за это откажись от своей работы, она подняла бы брови и сказала:

– Нет.

Работа была ее жизнью, ее душой, ее руками. Работа дала ей то место в жизни, в котором отказала ей природа. Быть без работы – значит потерять руки и душу, значит не жить.

Она очень хорошо понимала, что любовь не для нее. Что она покажется жалкой и смешной, если узнают об ее чувствах. Она была горда. Она не выдавала себя. Все эти

маленькие женские иллюзии были спрятаны далеко-далеко, за семью замками, в самом укромном уголке ее очень здорового сердца.

Родители Юлии Дмитриевны были обыкновенные средние люди с обыкновенной средней наружностью. Непонятно, каким образом оба их сына вышли совершенными красавцами, а дочь Юленька, единственная и долгожданная, – совершенным уродом. Мать сначала горевала и молилась богу, чтобы убавил лучше красоты сыновьям, а прибавил обделенной Юленьке. Потом привыкла. Потом, с годами, стала даже находить, что Юленька ничего себе. Отец брал семейный альбом и изучал лица родственников, близких и дальних, ища, кто мог передать Юлии такие удручающие черты. В конце концов нашел. Виновником беды оказался прадед – грек, нижегородский бакалейщик.

– Я его помню, – говорил отец, – его возили в кресле, и он все пасьянсы раскладывал. Ему на колени клали поднос, и он на нем раскладывал пасьянсы. Сто четыре года прожил. Красавец был старик.

– Неужели красавец? – спрашивала мать.

– И Юленька на него похожа?

– Представь, похожа.

Мать задумчиво качала головой:

– Я не знала, что в ней есть греческая кровь.

Греческая кровь сообщала семейному горю некоторую экзотичность и таинственность. Да, Юлия некрасива, но что делать – греческая кровь!

К сожалению, не подойдешь ведь к каждому мужчине и не шепнешь ему, в чем дело. А мужчины были очень немилосердны к бедной Юленьке. Хоть бы один когда-нибудь чуть-чуть поухаживал за нею. Они чересчур требовательны. Они не понимают, какое сокровище эта девушка.

Вслух, понятно, ни о чем таком не говорилось. Семья считала себя интеллигентной. Отец был фельдшером. Он любил бранить молодых врачей. По его словам, больные доверяли исключительно ему, фельдшеру. Действительно, каждый вечер к нему в дом стучались с черного хода какие-то бабы, и он выносил им порошки.

Сыновья тоже пошли по врачебной части: один был фармацевтом, другой ветеринарным фельдшером. Оба были прекрасны, как эллинские боги. Получить высшее образование обоим помешал чрезмерный успех у женщин. С годами они присмирели, женились на некрасивых и ревнивых женах, нарожали детей, жалели о безумно растроченной юности и завидовали отцу, имеющему верную частную практику с черного хода.

Во всем семействе только мать не имела отношения к медицине. Но и она научилась лечить. Если пациенты приходили в отсутствие мужа, она спрашивала: «А что у вас болит?» – и отпускала, в зависимости от симптомов, салол с беладонной или пирамидон.

Юлия Дмитриевна работала хирургической сестрой двадцать два года.

К семье она относилась свысока. Частную практику отца она презирала. Старшие братья, многодетные и непутевые, чувствовали себя перед нею мальчиками.

У них были слабости: они наделали много ошибок; о многих предметах у них до седых волос не было точного и определенного суждения.

У Юлии Дмитриевны не было никаких слабостей (ведь те, что под замком, не в счет!), она не сделала за всю жизнь ни одной ошибки и о каждом предмете имела твердое, сложившееся мнение.

Семья признавала все это и склонялась перед нею.

Мать вела хозяйство. В ее руках были деньги, ключи, власть над кастрюлями и бельем. Отец занимал за столом председательское место, он был глава, на дверях висела фарфоровая дощечка с его именем. Но настоящей хозяйкой в доме была Юленька. Потому что все, что она говорила и делала, было правильно и добродетельно. А в этой семье, где за каждым водились грешки, искренне чтит добродетель.

И в больнице, в операционной, была хозяйкой Юлия Дмитриевна, а вовсе не профессор Скудеревский. Весь персонал это понимал и боялся движения ее бровей куда больше, чем

яростных вспышек профессора. Когда однажды Юлия Дмитриевна заболела гриппом, профессор отказался делать сложные операции, пока она не выздоровеет. Это еще больше укрепило персонал в мыслях, что Юлия-то Дмитриевна, может, и обойдется без профессора, но уж профессору без Юлии Дмитриевны не обойтись.

Дверь перевязочной отворилась резко, рывком. Вошел Супругов.

– Мы, кажется, подъезжаем, – сказал он. Глаза его блуждали.

Поезд шел. В окне было все то же, что и раньше, – леса и луга. Солнце спускалось к закату, верхушки леса были пламенно освещены, тень вагона бежала по некошённому откосу.

– До Пскова шестьдесят километров, – сказал Супругов. – Вы обратили внимание, что у нас с утра не было ни одной остановки?

Он обращался к ней потому, что только в ее глазах он видел человеческое внимание и сердечность. Все остальные, словно сговорившись, третировали его. Правда, Фаина была к нему благосклонна, но это было женское кокетство и больше ничего. Его и прежде не волновали женщины, а сейчас они ему стали просто противны.

– Нас везут прямо под бомбы, – сказал он.

– Мне об этом ничего не известно, – сказала Юлия Дмитриевна холодно.

– Смотрите на эти деревья, – сказал он. – Может быть, мы их видим в последний раз.

Глаза его наполнились слезами. Юлия Дмитриевна вздохнула. У нее не было страха перед бомбами. В финскую кампанию она была фронтовой сестрой. Ей было приятно, что он стоит рядом и разговаривает с нею. Вздох ее был любовным.

– Смотрите, смотрите! – закричал Супругов.

Лес расступился, между его темными крыльями в пыльном облаке открылась дорога. На дороге было тесно: шли и шли войска, медленно двигались орудия. Сплошным потоком шли грузовые машины, укрытые брезентом. По обочине дороги, обгоняя машины, проскакал всадник. Все это мелькнуло и скрылось за крылом леса.

– Отступают, – сказал Супругов, ломая руки. – А мы едем туда, откуда они отступают.

– Я не вижу отступления, – возразила Юлия Дмитриевна. – Откуда вы знаете, что это отступление? Это может быть обыкновенная переброска войск. Мы не можем знать такие вещи.

– Мы знаем, – повысил голос Супругов, – мы знаем, что нас бьют, об этом все сводки, а вы делаете вид, что все прекрасно. А спросить вас – для чего вы делаете такой вид?... – вы и сами не скажете.

Отчего он повысил голос? Он никогда ни на кого не повышал голоса – не осмеливался. Откуда появилась в нем уверенность, что на нее он может повысить голос?

– Я вовсе не считаю, что все прекрасно, – отвечала она спокойно. – Я просто говорю, что это может быть переброска, а не отступление. Вы не докажете, что это отступление.

Рот у нее упрямо сжался. Она не желала идти на уступки. Даже во имя любви.

Черный дым потек вдоль окон. Солнце еще светило, а казалось, что спустился вечер. Стало трудно дышать.

– Пожаром пахнет, – сказал Данилов. Он стоял с доктором Беловым в коридоре штабного вагона. Проезжая дорога шла над полотном. По дороге густым потоком двигались орудия, грузовики, пехота. Теперь и Юлия Дмитриевна согласилась бы с тем, что это больше всего похоже на отступление. Войска шли в сторону, противоположную движению поезда.

– Оставляем Псков, – сказал Данилов тихонько.

Доктор смотрел, посапывая носом. Он думал: уехал ли Игорь из Пскова, успел ли уехать? Конечно, это фантастика, найти мальчишку среди такого скопища людей. А вдруг они все-таки встретятся? Вот Сонечка была бы рада. Он возьмет Игоря в поезд. Санитаром. Данилов не даст ему баловаться. Через два-три месяца Игорь станет шелковым. И он, доктор, привезет его к Сонечке и скажет: «Вот что значит мужское воспитание...»

– Надо закрыть окна, – сказал доктор вслух, – а то мы закоптим белье. Фаина Васильевна, – обратился он к проходившей старшей сестре, – распорядитесь, чтобы закрыли

окна.

Но оказалось, что санитары, испугавшись за белье, своей властью позакрывали окна во всех вагонах. А Фаина своей властью распорядилась открыть и накричала на санитаров.

– Глупо, – сказала Фаина, пожимая плечами. – Если закрыть, то от первого разрыва повывлетают все стекла.

Она проследовала дальше. Доктор и Данилов переглянулись.

– А вагон-аптека?... – спросил доктор.

– Ничего не сделаешь, – сказал Данилов, бледнея от досады.

В вагоне-аптеке окна были закрыты герметически.

– Ах, витязь, то была Фаина! – сказал Соболев, начальник АХЧ, встретив Фаину в коридоре и уступая ей дорогу.

Фаина мазнула его юбкой по коленям и, не взглянув, прошла в свое купе. Она терпеть не могла Соболева, который держал ее на пшенной каше. У Фаины был сегодня особенно бравый и воинственный вид. Она тоже, как и Юлия Дмитриевна, хлебнула фронта в 1940 году. Она знала, что предстоит ей завтра, а может быть, даже сегодня ночью, а может быть, даже сейчас. У себя в купе она первым делом взглянула в зеркало, потом достала и проверила сумку с медикаментами, потом села и стала отдыхать перед серьезным делом. Черт побери, она им всем покажет, что она умеет не только повязывать тюрбан! Она с гордостью посмотрела на свои руки. Руки были рабочие, сестринские, с короткими толстыми пальцами, потемневшими от йода и сулемы, с коротко обрезанными ногтями.

Соболев заглянул в купе.

– Ну как? Ужинать будем?

– А вы как думаете? – спросила Фаина. – Вы бы рады совсем нас не кормить.

– Рад бы, – сознался Соболев. – Очень большая морока с этой кормежкой. Нет, кроме шуток, удобно ли сейчас предлагать ужин? На пороге, так сказать, событий.

Она разозлилась.

– Идите к черту. Сейчас именно надо поплотнее накормить людей.

За плечом Соболева стал Данилов.

– Товарищ начальник АХЧ, – сказал он, – на ужин, помимо каши, отпустите мясные консервы, из расчета одна банка на четыре человека, и к чаю сгущенку в той же пропорции.

Соболев никаких событий не ждал, он просто дразнил Фаину. Теперь он растерянно взглянул на Данилова. Как, комиссар снимает запрет с мяса и сгущенки? События, несомненно, предстояли крупные. «Одна банка на четыре человека... – зашептал Соболев. – Шестьдесят семь делим на четыре, без остатка не делится, возьмем шестьдесят восемь...»

– Вот спасибо, товарищ комиссар, – сказала Фаина, когда испуганный Соболев ушел. – А то от этого пшена можно с ума сойти.

– Что же делать? – сказал Данилов. – Едем к фронту, кто его знает, что там удастся найти. Я вас хотел предупредить: вы с начальником поезда больше не разговаривайте так, как сейчас разговаривали: не годится.

– А как я разговаривала? – удивилась Фаина.

– Вы сказали: глупо. Он дает вам приказ, а вы говорите: глупо.

– Господи боже! Разве я про него? Я про санитаров!

– Если даже вы не согласны с приказом...

Вагон вдруг весь сотрясся, со столика на пол слетела с грохотом кружка, дверь закрылась бы сама, если бы Данилов не придержал ее плечом.

– Ого! – сказала Фаина, и глаза ее заблестели. – Чувствуете?

Вагон сотрясся вторично, еще сильнее.

– Товарищ комиссар, – сказала Фаина, – я, конечно, извиняюсь. Я не новичок и обязана знать дисциплину. Но учтите, что я прежде всего женщина, и у меня тоже нервы...

Она прислушалась. Ей хотелось испытать еще один толчок. Война – так война, в чем дело!

Пужинали.

Поезд полз медленно, еле-еле, иногда его ход совсем замирал. Проезжая дорога с отступающими войсками опять удалилась от полотна. Теперь из окон поезда были видны пригороды – избы, огороды и пастбища, обнесенные плетнями. Мелькнула какая-то дача – четыре опаленные белые стены без крыши, с пустыми глазницами окон. Какая-то деревня ярко пылала, и хлебное поле горело за нею – дымно, чадно. Земля здесь была изрыта рвами. Людей почти не было видно.

Вагоны содрогались уже все время. И сквозь стук колес был явственно слышен непрерывный грохот близкой канонады.

Юлия Дмитриевна стояла в перевязочной, смотрела в окно. Вот, значит, земля, которая достанется врагу. Псков. Она бывала в Пскове. Там жили родственники, она у них гостила, когда была девочкой. С вокзала ехали на извозчике, трамвая не было еще, а сейчас, наверно, есть. Липы цвели, Псков пахнул медом. Был вечер, смуглое теплое небо и колокольный звон, медленный, величавый... Тетка говорила: «Мы – псковские» с особенным выражением, будто на всей Руси лучше псковичан не было народу. Какой он сейчас, Псков? Такой, как эта дача без крыши? Как та пылающая деревня? Стоит, истерзанный бомбами, войска уходят, а он стоит и дымит, весь окопанный рвами...

Но Юлия Дмитриевна не увидела Пскова.

Поезд долго тащился по скрещивающимся путям, по обе стороны были товарные составы, грохотало в ушах, в окнах было черно от дыма. Иногда дым разрывался, тогда видно было небо, густо-розовое от зарева. Поезд стал. Юлия Дмитриевна позвала санитарку:

– Клава! Сходите в штаб, узнайте, где начальник и комиссар.

Ее беспокоило, что она стоит и ничего не делает, когда совершенно очевидно, что кругом есть люди, нуждающиеся в помощи.

– Нет ли каких-нибудь распоряжений.

– Сейчас, Юлия Дмитриевна. Я по улице пробегу, хорошо?

– Вы разве не знаете приказа, чтобы никто не покидал поезда? Идите по вагонам.

Клава ушла. Поезд, стоявший перед окном перевязочной, стал двигаться. Долго мелькали его plombированные вагоны, – прочь от города, – поезд ушел. За ним открылся другой состав, но все-таки посветлело, стали видны языки пожара: то один, то другой огненный язык взлетал в зловеще-розовое дымное небо... Санитарный поезд тоже стал двигаться ближе к станции; он вышел на свет пожаров и стоял одинокий неприкрытый, стоял бесстрашно со своими красными крестами. Справа и слева бесновался огонь.

Вернулась Клава.

– Ну, что там у них?

– Юлия Дмитриевна, начальник велел, чтобы вы никуда не уходили. Комиссар пошел за распоряжениями в эвакуопункт.

– Интересно, куда это я могу уйти, как он думает? – высокомерно любопытствовала Юлия Дмитриевна.

Поезд опять пошел. Он приблизился к вокзалу. Кругом горело. Никто не тушил. Бегали люди. Четыре человека стояли на краю перрона: трое штатских с чемоданчиками и четвертый Данилов.

– Хирурги! – сообщила Клава, по собственной инициативе сбегав в штаб. – Эвакуопункт прислал нам трех хирургов, они у нас будут делать операции.

Хирурги! Сердце Юлии Дмитриевны загорелось от предвкушения настоящей работы. Терапия. Что она может?... С точки зрения Юлии Дмитриевны, это не была врачебная наука, это было что-то вроде хиромантии. И вот настоящая врачебная наука прибыла в санитарный поезд в лице этих штатских людей с чемоданчиками. Операции в поезде, первичная обработка ран!

Она быстро прикинула: три хирурга – три стола. Один в перевязочной, два поставим в обмывочной. Инструментов хватит; халатов, перчаток – хватит. Кто будет ассистировать? Во-первых, конечно, она – Юлия Дмитриевна. Затем – Супругов. Нет, у него слабые нервы. Военфельдшер Ольга Михайловна – во-вторых, и Фаина Васильевна – в-третьих.

– Клава! Замаскируйте окна в обмывочной. Дайте свет. Снимите эти оборки с ламп. Мойте стол сулемой.

Трах! От близкого разрыва вылетело окно в перевязочной. Осколки стекла посыпались в вагон.

Клава перекрестилась. Она никогда не крестилась раньше, а тут вдруг перекрестилась, сама не зная зачем.

Юлия Дмитриевна с презрением посмотрела на нее:

– Клава! Я сама вымою стол. Уберите стекла.

Настоящая работа начиналась.

Фаина была права: через полчаса в вагоне-аптеке не было ни одного стекла.

Санитарки убрали осколки. Им было страшно. Две девушки от страха плакали. Но еще больше было досадно, что немцы портят такой хороший вагон.

– Сколько я старалась! – тихо говорила Клава, собирая стекла в железный совок.

Толстая Ия не выдержала. Она нарушила запрет и сбежала с поезда. Воронка от бомбы за горящим вокзалом показалась ей самым надежным убежищем. Ее не хватились. Она пришла сама на другой день, черная от пыли, с комьями земли в волосах, с опаленными ресницами.

Данилов собрал санитарный отряд: сестры, санитары, бойцы. Пришел Низвецкий...

– Я с вами, – сказал он.

– А с освещением как будет? – спросил Данилов.

– Кравцов присмотрит. Он понимает. Теперь светло...

– Нет, сегодня природным освещением не обойдемся: у нас предстоят операции.

– Кравцов...

– Что ж Кравцов. Кравцов машинист, а монтер – вы. Придется остаться.

– Ну, а уж я не останусь, как хотите, – сказала Фаина. – Я – фронтовая, полевая, меня ни бомба, ни снаряд не берут.

Данилов невольно улыбнулся ее бахвальству:

– Не могу, Фаина Васильевна: начальник намечает вас по части хирургии.

– Вот черт! – сказала Фаина. – До чего не везет! На тебе мою сумку, девочка, – сказала она Лене Огородниковой, которая стояла на перроне, заложив руки за спину, закинув мальчишескую голову. – Бери мою сумку, ты молодец – отчаянная.

– Ну, доктор, – сказал Данилов Супругову, – на нас смотрит вся Европа.

... Супругов повис на поручнях и, казалось, не мог расстаться с ними... Он повернул к Данилову мертвое лицо. Хотел что-то сказать – вдруг разорвалось близко на путях, угольной пылью засыпало и Данилова, и Супругова.

Супругов как бы понял что-то.

– Финита! – сказал он и сошел на землю.

Позже, разбираясь в своих тогдашних переживаниях, он определил их так: в тот момент он понял, – так показалось ему, – что смерть неизбежна. Понял также, – так показалось ему, – что будет ужасна. И ему захотелось как можно скорее перешагнуть этот рубеж. Пускай скорей ничего не будет, ничего, ничего. Главное – страха пускай не будет. Покой, тишина, безопасность... Для этого скорей, скорей – в самое опасное место. «Вот он я!» – кричало все в Супругове, когда он вышел на зловеще освещенный, развороченный снарядами перрон. «Вот он я, скорей кончайте со мной, я больше не могу бояться!»

Данилов взял его за руку. Супругов побежал за Даниловым, топая тяжелыми сапогами. Очень жарко было. Дым ел глаза... По переулку за вокзалом шел боец, волоча за собой винтовку. Кровавый след оставался за бойцом, и по этому следу, размазывая его, волочилась винтовка.

– Санитарный поезд далеко? – спросил боец. – Мне сказали – идти в санитарный поезд.

– Вон там, за будкой, увидишь, – отвечал Данилов. – Сам дойдешь или на носилки взять?

– Сам дойду, – отвечал боец. – Вам носилки пригодятся.

За углом лежал мальчик лет четырнадцати, он был в сознании, не стонал и смотрел на

подходивших санитаров жгучими и строгими глазами.

– Носилки! – сказал Данилов, а Лена нагнулась и подняла мальчика, как маленького ребенка. Он вдруг задергался, закинул голову и потерял сознание.

– А ты не совайся вперед, когда не умеешь, – сказал Сухоедов со злостью. – Это тебе не в куклы играть. Ложи на носилки, чего глядишь?

Визгнуло, мякнуло, разлетелось вблизи. Черное облако накрыло санитарный отряд. Облако улеглось.

– Все целы? – спросил Данилов после молчания.

Все были целы, только черны и оглушены.

Черный Супругов дико улыбался.

– Несите малого к Юлии Дмитриевне, – сказал Данилов Сухоедову и Медведеву. – А мы – дальше! Потом догоните, а если не догоните, берите кого ни попало и – в поезд.

– Это было что? – спросил Супругов, когда они пошли дальше по улице. – Снаряд или мина?

– Мина. А что?

Супругов закашлялся и выплюнул черную слюну. Плечо его гимнастерки было разорвано.

– Эге! – сказал Данилов. – Вас зацепило осколком?

– Да? Где? Ах, тут? Это пустяк: я совсем не чувствую боли. Это именно зацепило. Это именно такой пустяк, что не стоит говорить.

Он был как пьяный. Его шатало от сознания собственной безумной отваги.

Доктор Белов ходил по поезду.

В пустых вагонах с открытыми окнами носились горячие сквозняки. Все было освещено дымным движущимся светом извне. Еще сегодня эти вагоны казались такими уютными...

В каждом вагоне санитарка и боец. Испуганные, неприкаянные.

Вагон команды пуст: все, кроме дежурных, ушли с Даниловым.

«Что-то я забыл, – думал доктор, идя по поезду. – Что-то я забыл...»

А что именно – он не мог вспомнить.

Как будто он всем распорядился. В вагоне-аптеке господствуют хирурги, им и карты в руки. За ранеными отряд послан. На Данилова положиться можно... Да, питание. Надо бы накормить людей ужином. А утром их надо накормить завтраком.

– Сестра Смирнова, пошлите кого-нибудь за начальником АХЧ.

Явился Соболев. Доктор взглянул на него с невольным мимолетным любопытством: считает или нет? Соболев не считал, он весь как-то съезжился и поник, как резиновый пузырь, из которого выпустили воздух.

– Вот что, – сказал доктор, – надо, знаете, приготовить ужин. На... – он подумал, – на сто двадцать человек, да. Хороший ужин.

– Ужин уже был, – пролепетал Соболев.

– Хороший, знаете, – повторил доктор, игнорируя возражение. – С учетом, знаете, раненых, которые к нам начинают поступать с сегодняшнего дня. Не сиротское ваше пшено, а сварите сладкую манную кашу, с вареньем, что ли, и чтобы кофе, и печенье, масло – вы понимаете.

– Масло? – сомнабулически переспросил Соболев.

– Да. По пятьдесят граммов масла.

– Пятьдесят, – сейчас же зашептал Соболев, возводя глаза к потолку, – пятьдесят множим на сто двадцать, получаем шесть тысяч – шесть кил...

«Что-то я забыл, – думал доктор, покончив с Соболевым. – Что-то я забыл, забыл...»

И вдруг он вспомнил.

Как же он ничего не сделал, чтобы найти Игоря? Очевидно, что-то можно было сделать. Позвонить по телефону. Написать заявление. Где-то похлопотать, кого-то попросить... Глупости, бред – куда звонить, где хлопотать, кого просить?... Нет, нет. Что-то можно было сделать, безусловно. Просто он не умеет. Сонечка сумела бы. Он недогадливый, всегда был

недогадлив в таких вещах. Сонечка догадалась бы, потому что она любит Игоря. Настоящая любовь обо всем догадывается и все умеет. Он мало любит Игоря, он всегда любил его слишком мало, он ничемный, незаботливый, неумелый отец. Он любил больше Лялю. А чем она лучше? Завитушки на уме, оперетка и флирт. Только что ластиться мастерица... Она ластилась, и он давал ей деньги на оперетку, а Игорь попросил у него на что-то – он не дал. отказал. Несчастные тридцать рублей... Родной мальчик, прости. Бери все, бери мою старую, догорающую жизнь, только живи! Только найдись! Только не уходи так сразу, мальчик...

Когда Юлию Дмитриевну провожали из дому на военную службу, пришли оба брата с женами и детьми и вся родня. Пекли пироги, крутили мороженое, словно в именины. Юлия Дмитриевна сама сдвигала столы и накрывала их парадными белыми скатертями.

И вот она опять переставляла столы и застилала их белым полотном.

Пришел первый раненый – боец. Он поставил винтовку в угол и деловито огляделся.

– На который стол ложиться? – спросил он.

Сразу был виден толковый парень, бывалый.

– На какой хотите, – благосклонно отвечала ему Юлия Дмитриевна. – Только сперва разденьтесь. У вас что, нога? Клава! Разрежьте ему сапог.

Сама она стояла и держала халат, чтобы подать профессору, когда он кончит мыть руки. Белые, чуть одутловатые профессорские руки, такие же, как у профессора Скудереvского. Окна в обmyвочной были занавешены, над столами горели слепящие белые лампы. Никому не приходило в голову, как нелепо маскировать этот свет, когда весь поезд снаружи освещен пожаром.

Клава разрезала раненому сапог и в ужасе отвернулась.

– Ну чего ты, чего, чего? – сказал боец, морщась. – Не привыкла еще? Самое незначительное дело, если хочешь знать: даже кость не задета.

Юлия Дмитриевна облачила профессора в халат, налила на его малиновые ладони спирт и подала перчатки. Красивый старик, похожий на актера, недоуменно взглянул в ее довольное лицо...

Но через две минуты он понял ее. Она священнодействовала. Ее не надо было ни о чем просить, она не нуждалась ни в какой подсказке. Она сама подавала все, что нужно, раньше, чем он догадывался, что именно ему понадобится сейчас.

Боец, раненый в ногу, перенес перевязку стойко, без стопа, только шумно отдувался по временам: «Ффу...» Юлия Дмитриевна обожала таких пациентов. Она ненавидела крикунов. Она больше не слышала грохота, была поглощена своим делом. Ее беспокоила только жара. В вагоне было невыносимо душно, вентилятор почти не разрезал духоты. Она взяла пинцетом марлевую салфетку и вытерла пот с лица раненого.

– Спасибо, мамаша, – сказал боец.

Принесли мальчика с раздробленной голенью. Он был без сознания. У него была превосходная мускулатура: должно быть, играл в футбол, катался на велосипеде... С первого взгляда она увидела, что ногу придется ампутировать, увидела раньше, чем профессор.

– Проклятые негодяи, – сказала Фаина, глядя на мальчика.

Мальчик дернул подбородком и скрипнул зубами... Профессор спросил Юлию Дмитриевну:

– Вы можете дать наркоз?

Может ли она дать наркоз! Если говорить совсем откровенно, она может произвести и ампутацию. Она не берется за это только потому, что у нее нет формального права.

Она наложила на лицо мальчика маску... Когда раздался звук пилы, отделяющей кость, Фаина отошла к окну, отвернулась и заплакала.

Во время этой операции пришел доктор Белов.

– Я нужен? – спросил он.

Юлия Дмитриевна бросила на него грозный взгляд. Он робко подошел, вытянув шею, всматривался в раненого... На другом столе в обmyвочной лежала женщина.

– Мальчика – в кригеровский одиннадцать, – сказал доктор сестре Смирновой, которая вошла за ним. – Женщину...

– Женщину не надо, – сказала Ольга Михайловна, военфельдшер, ассистировавшая у второго стола. Она сняла маску с лица женщины. Широкое, чуть скуластое славянское лицо. Соболиные брови. Прекрасный рот. На носу коричневая полоска от веснушек...

– Поздно, – сказал хирург.

Вдруг его бросило на другой стол, на мальчика, а мальчика бросило на пол, и упали все, кроме Юлии Дмитриевны, которая отлетела к двери перевязочной и удержалась, ухватившись за кованую вешалку для полотенца. Посыпалась со стен и потолка белая эмалевая краска. Кусок рамы откололся и ткнул Юлию Дмитриевну острым концом в висок.

– Это очень близко где-то, – сказал доктор Белов.

– Очень, – поднимая мальчика, подтвердила Юлия Дмитриевна. – Я думаю, что это прямое попадание в наш поезд.

Бойцы Кострицын и Медведев вбежали в вагон-аптеку с двух концов, крича:

– Четырнадцатый вагон горит! Где начальник?

Начальник был уже на полотне и со всех ног бежал к горящему вагону.

Горело жарко – сухое дерево, сухая краска. Какое счастье, что в вагоне еще не было раненых. Цел ли персонал? Цел, цел: вон Надя – нагнулась, отплевывается... Кровь у нее на халате.

– Надя, ты что – ранена?

– Ой, что вы, товарищ начальник. Это я губу разбила об полку.

– А Кострицын жив?

– Жив, пошел за вами...

Вон он бежит, Кострицын. Ведро с водой в руке. Что тут сделаешь с ведром... И Медведев за ним.

А вон с другой стороны идут Кравцов и Низвецкий. Идут, словно у них колени перебитые.

– Живей, ребята, живей! – кричал доктор.

Низвецкий побежал рысью. Кравцов не прибавил шагу, приближался, засунув руки в карманы штанов.

– Тащи, ребята, воду, – волновался доктор. – Зовите всех, будем заливать.

– Где вода-то? – спросил Кравцов небрежно.

– Вода? В баках вода. В паровозе вода...

– Это ерунда, а не вода, – сказал Кравцов и вдруг заорал:

– Эй! Отцепляй вагон! Дураки, динама рядом, а они раззявили рот! Эй, милый, – сказал он, схватив за полу проходившего мимо смазчика, – помоги как специалист. Необходимо выключить вагончик.

– Еще чего! – сказал смазчик. – Сотни вагонов пропали, а я чепуху такую-растакую буду отцеплять.

– Необходимо, радость, – сказал Кравцов. – Тут раненые, тут – динама. Нет другого исхода, как отцепить.

– Матери вели отцеплять под бомбами, – сказал смазчик.

– А вот я тебе велю! – сказал Кравцов, выкатив глаза, и ударил смазчика по уху. Доктор оцепенел от неожиданности... Смазчик ударил Кравцова ногой в живот. Кравцов ударил смазчика по затылку. Смазчик еще раз выругался и полез отцеплять горящий вагон. Откуда-то явился кондуктор, запачканный землей; верно, лежал где-нибудь по соседству в воронке. Горящий вагон отвели подальше и стали заливать водой из паровоза.

А Юлия Дмитриевна стояла у стола и подавала профессору инструменты и салфетки. Готовила раненых к операции. Давала наркоз... Всю ночь не прекращался обстрел города, и всю ночь в поезд поступали раненые. Одних приносили на носилках, других подвозили на грузовиках, третьи приходили сами... К утру профессор не выдержал.

– Все, – сказал он и не развязал – разорвал завязки халата. – Не могу. Я уже пятые сутки...

Фаина повела его в штабной вагон – отдыхать. Кстати, сказала она Юлии Дмитриевне, она тоже немножко придет в себя и переоденется, ее уже тошнит от крови, а белье от пота все мокрое...

– Я тоже пас, – сказал другой хирург, маленький и черный, с лимонно-желтым лицом, и ушел. Ольга Михайловна прилегла тут же в обмывочной на диване. «На минуточку, на минуточку», – сказала она детским голосом и сейчас же уснула. Остался молодой хирург с белобрысым бобриком, нос – рулем, роста – выше Данилова.

– Ну? – спросил он, глядя на Юлию Дмитриевну.

– Ну! – ответила она одобрительно и перешла к его столу.

Они работали вдвоем, молча. Вагон трясся от канонады, а они работали и не думали о том, скоро ли кончится эта ночь, скоро ли утро, будет ли отдых... Работая, молодой врач что-то насвистывал сквозь зубы, еле слышно, – что-то красивое, Юлии Дмитриевне понравилось...

Ольга Михайловна проснулась часа через два, вскочила и побежала будить отдыхающих. Первая вернулась Фаина, свежая, как роза, потом старый профессор.

– А вы все бодрствуете! – виновато сказал он Юлии Дмитриевне, принимаясь мыть руки.

Она не ответила – она считала салфетки, которые молодой врач вынул из раны оперированного, только бровями показала Фаине, чтобы та подала профессору халат.

Все утро подвозили и подносили раненых. Койки заселялись. Соболь готовил завтрак на триста человек. Обед доктор Белов приказал готовить на пятьсот... Санитарки уже не относили ведра к воронке, а выплескивали кровь прямо на полотно.

В полдень Данилов, зайдя в штабной вагон, спросил начальника:

– Ну как? Довольно?

– Боюсь, что довольно, – отвечал доктор. – Уже даже в штабном полно. Кладем на пол, а за это, знаете, может здорово нагореть.

Они прошли по составу. В вагонах стало тесно, пахло аптекой и потом, летали мухи. Среди раненых было много легких. Они пришли сами и остались в поезде, чтобы иметь возможность выехать из города. По большей части это были мирные жители. Одна женщина, раненная в лопатку, привела с собой четверых детей; Фаина запихала их в свое купе. Все это было против правил и инструкций, но в эту ночь как-то забылись инструкции, помнилась только общая русская беда, из которой надо было вылезать общими усилиями.

Доктор – в который раз! – заглядывал на каждую койку: он все думал – вдруг Игорь очутится здесь. Но Игоря не было.

– Иван Егорыч, – сказал доктор, – вам бы лечь, голубчик, вы же всю ночь, как грузчик, работали, так, знаете, нельзя.

Сам доктор тоже не спал, бегал, распределял раненых, тушил пожар, и кроме рюмки водки, которую ему дал Кравцов, у него во рту ничего не было. Но доктору казалось, что он один бездельничал, а эта злосчастная рюмка водки представлялась ему неслыханным преступлением против служебной и человеческой этики. Хоть бы Данилов не узнал об этой рюмке...

Данилов сказал:

– У меня мысль. Здесь на станции есть заведомо брошенные составы с ценными грузами. Их будут сжигать. Мы вполне можем вытащить один такой составчик.

– Как вытащить?

– Ну, нашим паровозом. Прицепить к нам. Я уже говорил с комендантом вокзала, он очень рад.

Данилов думал, что и доктор обрадуется. Но доктор смотрел на него, помаргивая усталыми глазами, и медлил с ответом.

– Извините, Иван Егорыч, – сказал он наконец. – Но, мне кажется, этот вопрос мы не можем решить так непродуманно. Вы понимаете, я прежде всего врач, который отвечает за жизнь своих больных. Если эта дополнительная нагрузка отразится на ходе поезда, я буду вынужден не согласиться...

Он говорил очень мягко, но было что-то в его помаргивающих глазах, что Данилов понял:

начальник чувствует себя начальником. Данилов покраснел, ему захотелось сказать: «Вы не только врач, вы советский гражданин, и вы обязаны спасать государственное имущество!» – но доктор, словно предупреждая его, сказал:

– Ценности мы возместим, знаете. Наш груз – самый драгоценный, не правда ли?

Им навстречу шла Юлия Дмитриевна, прямая и торжественная, только немного меньше красная, чем обычно. У нее на виске неровной струйкой засохла кровь.

Доктор отдал ей честь. Она снисходительно поклонилась и прошла.

– А вот это, – сказал доктор, глядя ей вслед, – пожалуй, знаете, самое ценное, что есть у нас в поезде.

«А кто ее нашел? – подумал Данилов. – Я ее нашел! Ты на готовое приехал, а теперь командуешь!»

Но он вспомнил, что он на войне и перед ним начальник его части. Он ничего не сказал.

Супругов вернулся в поезд вместе с Даниловым.

Он тоже всю ночь ходил по городу под обстрелом и перевязывал раненых. В сущности он был слишком хрупок для такой работы. Его поддерживал нервный подъем. Он не вздрагивал, когда снаряд разрывался вблизи: он как бы со стороны, с какого-то безумного полета, видел себя в эту ночь. Так же со стороны – сверху – он увидел отрадную картину: врач возвращается с поля боя, где каждую секунду подвергался опасности быть убитым или изувеченным. Гимнастерка самоотверженного и храброго врача разорвана на плече осколком снаряда. Он смертельно устал, он черен, как негр, его обшлага и колени галифе пропитались кровью, ноги растерты сапогами... Но он бодро подтягивается на поручнях и входит в штабной вагон. Кухонная девушка Фима шарахается от него.

– Горячей воды! – говорит он ей на ходу. – И чистый халат, а этот сегодня же выстираете.

Фима посмотрела на Супругова преданными глазами и бросилась за водой...

– Смирнова! – из купе крикнул Супругов пробежавшей по коридору сестре. – Скажите-ка сестре-хозяйке, чтобы мне подавали завтрак.

Он стягивал с себя гимнастерку. Смирнова взглянула в купе, увидела негритянскую голову и заскорузлые от крови кисти рук, круто повернула назад и побежала в кухню.

«Ага, забегали!» – сказал про себя Супругов.

Оголившись до пояса и спустив подтяжки, в нарочитом неглиже он отправился мыться. Фима шествовала за ним на цыпочках с кувшином горячей воды. Он подставил ей ладони:

– Лейте!

Санитарный поезд, опаленный и закопченный, с выбитыми окнами, возвращался в тыл. В хвосте его болтался обгоревший вагон. Зеленые фонари загорались перед поездом, и другие поезда уступали ему дорогу.

Часть вторая

Утро

Глава пятая

С востока на запад

Вспоминая свой первые рейсы, люди санитарного поезда удивлялись: как они не понимали тогда самых простых вещей. Для чего, например, они занавешивали окна вагонов, когда поезд, незамаскированный, стоял на открытой платформе, издали видный немецким бомбардировщикам? Почему поезд представлялся наиболее надежным убежищем, а люди, отправившиеся с носилками в город, казались отчаянными храбрецами, идущими на верную гибель? На самом деле под открытым небом было гораздо меньше шансов погибнуть. Но люди поняли все это позже, когда фронт остался далеко позади. Поняв, посмеивались над своей неопытностью.

– Вообразите! – говорил доктор Супругов Юлии Дмитриевне, с которой был разговорчивее, чем с другими. – Я считал, что все мы совершаем безумный поступок, уходя из-под крыши вагона. А между тем, это с нашей стороны был тогда единственно разумный поступок...

Фаина сердилась: до каких пор этот человек будет пережевывать свою жвачку? Но она молчала, потому что у нее были виды на Супругова...

Фаина жила теперь в одном купе с Юлией Дмитриевной. Собственно, ей полагалось бы жить с Ольгой Михайловной, военфельдшером: у старшей сестры и военфельдшера были почти одинаковые функции в поезде. Ольга Михайловна работала в вагонах для тяжелораненых, Фаина – в вагоне для легкораненых, а обязанности у них были почти одни и те же. И жить бы им следовало вместе, но они не сошлись характерами. Ольга Михайловна, скромная, простенькая и прямолинейная, невзлюбила шумную Фаину. Поведение Фаины, откровенно льнущей к мужчинам, казалось Ольге Михайловне развратным. И она, сама того не желая, придиралась к Фаине и не прощала ей ни малейшего промаха. На утренних совещаниях-десятиминутках, где собирался весь медицинский персонал, Ольга Михайловна никогда не упускала случая кольнуть Фаину этими промахами. Все это были мелочи: то двое трахеотомиков из Фаинино вагона нарушили запрет и пошли прогуливаться по поезду; то больной, которому была предписана диета, по недосмотру санитарки съел пирог с капустой, купленный к тому же у бабы на станции. У Ольги Михайловны повышался и звенел голос, когда она выводила на чистую воду эти безобразия, а Фаина багровела и бурно дышала, но оправдываться ей было трудно: действительно, трахеотомики шлялись по вагонам, действительно, лейтенант из пятого вагона объелся пирогом и его потом рвало, и действительно, за все это отвечала Фаина. Ольге Михайловне хорошо: у нее в кригерах всего сто десять раненых – и каких? Почти все лежачие, ампутанты: лежат, бедняги, на своих подвесных койках с детскими сеточками и больше помалкивают. И полная гарантия, что никто не нарушит правил внутреннего распорядка, не пойдет разгуливать по вагонам, не вылезет в кальсонах на стоянке покупать пироги и самогон...

А у нее, Фаины, в каждый груженный рейс около трехсот человек под надзором. Как кончается обед и начинаются процедуры – массажи, местные ванны, электризация – с ума можно сойти; до ночи бегают, высунувши языки, санитарки и сестры, и больше всех Фаина. Пойди, укарауль каждого, чтоб не съел чего лишнего! И это же не паралитики какие-нибудь, господи боже мой! Это здоровенные парни, которых немножко повредило в бою, которым жить хочется. Сначала, пока очень больно, они кряхтят и стонут и боятся – не останутся ли калеками, непригодными к работе; а чуть-чуть полегчает – они принимаются рассказывать веселые истории из своей жизни, любезничать с санитарками, петь песни, им уже опять море по колено, хоть сейчас снова в бой... Скажешь им: «Товарищи, вам вреден самогон!» – они смеются: «Самогон-то? Ого! Вот посмотрите, выпьем по сто граммов – всю хворобу как рукой снимет!» И что им на это ответить? Они правы – снимет...

Таков русский человек; Фаина, русская женщина, понимает его... «Не знаешь жизни, дорогая, – думала она, молча слушая Ольгу Михайловну. – Тебе это все еще представляется по трогательным картинкам: раненый лежит и шепчет: „Сестрица! Водицы! Испить...“ А ты над ним тихим ангелом склоняешься... Нет, душка, может случиться и так, что тебе в физиономию мензуркой с лекарством запустят, потому народ горячий, нервный, смерть в глаза повидал; а ты утрись да смолчи, да принеси ему лекарство снова, да уговори выпить – на то ты и сестра милосердия; а куда ты с ним канителишься – у тебя, глядишь, другие раненые пошли прогуливаться по вагонам».

Фаина не высказывала этих мыслей вслух: есть положение Главного санитарного управления, есть инструкции РЭП – распределительно-эвакуационного пункта, есть правила внутреннего распорядка, есть в поезде начальник и комиссар, – она, Фаина, человек маленький, ей нечего соваться со своими поправками...

Неожиданно Фаина нашла поддержку в Юлии Дмитриевне.

– Из военфельдшера не будет большого толка, – сказала однажды Юлия Дмитриевна.

Фаина вся зажглась:

– Почему вы так думаете?

– Она живет в мелочах. Мелочи занимают все ее мысли. Ей некогда подумать о главном.

Фаина удивилась:

– Юлия Дмитриевна, я извиняюсь, но вы тоже живете в мелочах...

– Я обязана делать это, – возразила Юлия Дмитриевна, – потому что в хирургии самое ничтожное упущение может повлечь за собой тяжелые осложнения для больного. Но наряду с этим медик должен обладать смелостью и способностью игнорировать безобидную деталь. Военфельдшер добросовестна, и не больше. Из нее выработается со временем средний медик для малоинтересных больных. Она будет хорошо лечить от гриппа и чесотки. Она не для науки, а для повседневной лекарской практики.

– А я? – спросила Фаина.

Юлия Дмитриевна критически осмотрела ее – от завитых волос до стоптанных модельных туфель.

– Вы могли бы быть для науки. В вас чувствуется размах. Вы могли бы быть для науки, если бы меньше отвлекались от своей деятельности.

Фаина вздохнула и обняла Юлию Дмитриевну. Хотела поцеловать, но передумала.

– Вы прямо до ужаса правы, – сказала Фаина.

И когда сестрам, живущим в штабном вагоне, пришлось потесниться, чтобы освободить купе под канцелярию, как-то само собой получилось, что Юлия Дмитриевна по доброй воле переселилась к Фаине, и Фаина была этому искренне рада.

Теперь санитарный поезд уже не ходил на передовую линию. Для фронта были определены особые поезда – «летучки», состоявшие из нескольких вагонов. Поезда более усложненного типа, так называемые «временные военно-санитарные», эвакуировали раненых из прифронтовых госпиталей в ближний тыл. И уже специальные тыловые поезда перевозили раненых в глубокий тыл, часто за многие тысячи километров от поля боя.

Тот санитарный поезд, о котором рассказывается в этой повести, был в новой классификации типичным тыловым поездом. Для фронта он был слишком громоздок, слишком уязвим, слишком дорого стоил. Это был передвижной госпиталь, комфортабельный и выложенный. После первых двух боевых рейсов – в Псков и Тихвин – его закрепили за тылом.

Некоторые работники поезда приняли эту перемену с удовольствием: мирные люди, они тяжело переносили опасности фронта. Необходимость под обстрелом сохранять спокойствие и работать стоила им большого нервного напряжения. Другие отнеслись к перемене равнодушно.

Но были люди, которых перевод в тыл огорчил, разочаровал, почти обидел.

Огорчился Низвецкий. Разочаровалась Юлия Дмитриевна. Обиделась Фаина.

Отношение Данилова к переводу в тыл было двойственное.

С одной стороны, он уже полюбил свой поезд и с каждым днем привязывался к нему все крепче и ревнивее. В глубине души он был доволен, что красавец-поезд уведен из-под неприятельских бомб. С другой стороны, ему было неприятно находиться вдали от фронта и на такой маленькой, казалось ему, работе. Иногда, подобно Сухоедову, он думал, что его обошли; тогда он раздражался, мысленно поносил Потапенку, пославшего его на эту работу, и санитарки пугались его мрачного взгляда. Он брал себя в руки, раздражение проходило, а спустя некоторое время возвращалось опять.

Немцев уже отогнали от Москвы. Ленинград выстоял первую страшную зиму. Началась весна. Данилов напряженно ожидал, как развернутся события летом. Немцы предприняли новое наступление и стали пробиваться на Кубань, на Кавказ. И Данилов испытывал жгучее чувство ярости и бессилия.

«Затянись потуже, – советовал он себе, трезвея. – Без тебя там не справятся?...»

Он послал рапорт в РЭП, прося отпустить его в действующую армию. Ответа он не получил. Послал личное письмо Потапенке – тоже никакого ответа. Написал в ЦК партии, в военный отдел.

Вагон, обгоревший в Пскове, ремонтировали в Кирове.

Железная дорога отказывалась ремонтировать, ссылаясь на недостаток рабочей силы. «Вагончик бросовый, свяжись с ним – не развяжешься», – говорили железнодорожники. В транспортных мастерских, откуда взрослые рабочие ушли на фронт, работали теперь какие-то мальчишки и девочки... Данилов поговорил со своими людьми, и они согласились взять ремонт на себя. Вагонного мастера Протасова, старого важного лентяя, Данилов поставил во главе бригады. Кравцов оказался на все руки специалистом – слесарем, сварщиком и стекольщиком. Целый день Кравцов и Протасов спорили и ругались до хрипоты. Каждый отстаивал свой приемы и свое главенство, а по вечерам оба исчезали и возвращались подвыпившие и исполненные нежности друг к другу. Сухоедов, Медведев, Кострицын, Низвецкий, Богейчук, Горемыкин – все мужчины, кроме врачей, приняли участие в ремонте, и сам Данилов вспомнил отцовские уроки и пошел к Кравцову в подручные. Девушки подносили материал, прибирали за работающими, красили вагон и просто путались под ногами... За шесть погожих апрельских дней ремонт был закончен.

Это доставило большое удовольствие Данилову. Не столько велика была ценность вагона, сколько приятно сознавать, что вот – ничего не растеряли из того, что было им доверено, ничем не дали врагу поживиться. Особенно приятно было Данилову видеть, что это чувство разделяют с ним другие люди в поезде: каким-то новым, хозяйским взглядом смотрят они на отремонтированный вагон. Даже у Протасова на пухлом небритом лице видно удовольствие, когда, расставив ноги и выпятив живот, рассматривает он с перрона дело рук своих...

В честь окончания ремонта устроили собрание. Кравцов явился в пиджаке и галстук. О нем говорили много и с одобрением. Данилов диву давался – куда исчезла с его лица мефистофельская гримаса? Старый пьяница краснел и таял, как девушка от комплиментов... А наутро он снова предстал перед Даниловым прожженным старым дьяволом с запавшими щеками и мутным взглядом.

Поездные заботы отнимали все время. Какими бы мыслями Данилов ни мучился – дело было рядом и требовало его внимания.

В санитарном поезде он скоро почувствовал, что многое здесь еще не налажено. Он входил в мелочи поездного хозяйства и прислушивался, что говорят люди. Соболь все считал; Данилов тоже стал считать. Он высчитал, что на перевозку раненых они тратят в среднем не более десяти дней в месяц. В остальное время либо стоят, либо идут порожняком. Команда в эти дни почти ничего не делает, потому что ей нечего делать. Глазеют в окошки, разговаривают...

Юлия Дмитриевна в эти дни нажимает на партийно-комсомольскую учебу. Прекрасно, но все-таки не для того же их собрали в этом поезде, чтобы они тут, на досуге, занимались партийно-комсомольской учебой...

Однажды на стоянке они стояли рядом с другим санитарным поездом. Из окна в окно они наблюдали, что происходит в этом чужом поезде. Две сестры что-то шили и смеялись, болтая. В штабном вагоне трое мужчин без гимнастеров, в нижних рубашках, играли на бильярде. «Черти! – подумал Данилов, разглядев. – Сообразили снять переборку между купе, чтобы поставить бильярд». Между поездами скорым шагом прошла транспортная ремонтная бригада: несколько мальчиков-подростков и две девушки в мужских спецовках, черных и промасленных. «Вот эти детишки ремонтируют наши вагоны, – думал Данилов, – а эти здоровые мужики двадцать дней из тридцати гоняют шары... А я стою и смотрю, как они гоняют».

«Но если мы сами отремонтировали заново тот вагон, – думал он дальше, – то неужели и текущий ремонт не можем выполнить сами? Есть среди наших людей разных дел мастера. Неужели мы не осилим ту работу, которую выполняют для нас эти детишки?» Он стал прикидывать: если бы каждый санитарный поезд в военное время силами своего личного состава осуществлял текущий ремонт – какая это была бы крупная и действенная помощь транспорту.

«И для нас выгодно, – думал он, – не придется дожидаться неделями. Стоянки сократятся.

Больше сделаем оборотов. Дело простое, и нечего с ним тянуть».

Он не стал тянуть. Заручившись согласием начальника, он поставил вопрос на общем собрании части. Но тут неожиданно наткнулся на противодействие.

– У меня, товарищи, вызывает сомнение, – сказал Супругов, – такая непродуманная постановка вопроса. Не слишком ли мы перегрузим наших людей? Не секрет, товарищи, что во время груженных рейсов наши люди работают сверх всяких сил человеческих. Когда-нибудь должны они отдыхать? И когда же, если не во время порожних рейсов? Надо, товарищи, основательно подработать этот вопрос.

Во все глаза Данилов смотрел на Супругова, приоткрыв от неожиданности рот... Вот как? Этот смиренный, со всеми согласный доктор идет открыто против него, Данилова? Что за сон?... Он говорит тихо, но отчетливо. Люди его слушают. Вон доктор Белов заерзал на стуле, что-то пишет в блокноте. Вон толстая Ия подперлась рукой, пригорюнилась, – жалко, видно, стало себя, что работает сверх сил...

Если бы Данилов больше присматривался к Супругову, он еще раньше уловил бы в нем некую перемену. Но Данилов не интересовался Супруговым и перемену в нем проморгал. Перемена пошла после Пскова. После Пскова Супругов вдруг ощутил, что он не просто себе так – какой-то Супругов – ухо, горло, нос, – а военврач третьего ранга, активный участник исторических битв и, если смотреть вполне объективно, без ложной скромности, – героический участник. Его обижало, что окружающие как бы не замечают этого, игнорируют его. Что вот ничтожный поступок Кравцова, починившего какие-то трубы, был отмечен на собрании, а об его, Супругове, выдающемся поведении на улицах Пскова хоть бы заикнулись.

И ему хотелось заявить о своих заслугах, дать понять, что в коллективе он что-то весит, что к его мнению обязаны прислушиваться... Это желание было так сильно, что перевесило обычную супруговскую рассудительность. Он попросил слова с тем дрожанием сердца, какое бывает у неопытного пловца, когда тот бросается с вышки в воду: и хочется нырнуть и страшно – вдруг утонешь...

Секунду ему казалось, что он уже утонул: такая грозная молния сверкнула в глазах Данилова... Супругов судорожно оттолкнулся и выплыл.

– Не поймите меня превратно, – сказал он. – Я боюсь одного: чтобы переутомление наших людей не отразилось на их работе по уходу за ранеными защитниками отечества.

Вынырнул, вынырнул: доктор Белов согласно кивает головой, и на лице у Юлии Дмитриевны выражение раздумья, которое так мало красит ее...

Данилов молчал. Он хотел слышать всех. Супруговское выступление – камень, брошенный в воду: обязательно пойдут круги. И они пошли.

– Обратите внимание, – сказал Протасов, – что вопрос о ремонте ставится на общем собрании части. Если бы это было в согласии с положением, то не ставили бы на общем собрании, а дали приказ, и делу конец. Чтобы санитарный персонал лазил все время по вагонам и не имел никакой передышки, этого в положении нет. Это дело дороги. Это я вам как старый железнодорожник могу подтвердить.

Данилов молчал.

– Мы, товарищи, обязаны подчиняться дисциплине не рассуждая, – обиженно сказал Горемыкин. – Если начальник скажет мне: ляжь, Горемыкин, под поезд, – то я обязан лечь без обсуждения. Если мне начальство велит уборные красить, я буду красить, если даже ни в каком уставе не сказано, чтобы боец уборные красил. Наше дело – дисциплина.

Встал Сухоедов.

– Товарищ комиссар! – сказал он задыхающимся голосом астматика. – Разрешите доложить, что вы правильно поставили вопрос, по-большевистски, с государственной точки зрения. Я оставляю без внимания выступления товарища Горемыкина и товарища Протасова. Это политически неподкованные выступления. Мы не можем к ним прислушиваться, когда у нас на фронте такое положение и вся страна заинтересована.

– Байбак проклятый, – сказал вдруг Кравцов, глядя на Протасова с омерзением. – Если у

тебя есть талант сделать сверх положения, почему же не сделать, кто ж должен делать, если не я и не ты? – Протасов только отворачивался и жмурился, словно его били по лицу. – Тебе бы только дрыхнуть да водку жрать, черт бесполезный...

Данилов встал.

– Товарищи! – сказал он тихо, мельком скользнув глазами по лицу Супругова. – Вы меня не совсем поняли. Я не предлагал включать в ремонтные работы медицинский персонал. Я предлагаю создать постоянную ремонтную бригаду из наших специалистов. А если кое-кто из санитаров во время порожнего рейса окажет посильную помощь, то неужели, товарищи, это отразится на вашем уходе за ранеными? Ведь нет, я думаю?

Он спрашивал ласково и заботливо и совершенно точно знал, каков будет ответ. Сейчас же закричали девушки: «Нет! Нет! Не отразится!» И Юлия Дмитриевна гордо выпрямилась, и доктор Белов удовлетворенно и успокоенно утвердился на своем председательском месте. Вопрос решился сразу, легко и дружно. С этого дня Данилов стал наблюдать за Супруговым более внимательно. Но ничего особенного не замечал – Супругов опять замкнулся, держался по-прежнему искательно и осторожно. «Почему он выскочил тогда на собрании?» – спрашивал себя Данилов и все не мог найти ответа. Потом нашел: Супругов искал популярности у персонала.

Однажды Данилов застал его в вагоне команды; Супругов рассказывал что-то. Данилов остановился, послушал: какие-то старые анекдоты. Люди смеялись охотно. «Надо в театр их свести, что ли», – подумал Данилов. Тогда же у него мелькнула мысль, что доктор Супругов, видимо, не прочь снискать расположение персонала. Ну что ж, и ладно. Чем сидеть сычом у себя в купе, пусть лучше развлекает людей.

Но в другой раз он сильно рассердился. Они опять стояли в Кирове во время порожнего рейса. Стоянка была недолгой, а когда дали приказ к отправлению, то оказалось, что в поезде нет ни одной санитарки: Супругов своей властью отпустил их всех в кино. Отправка задержалась на три часа. Данилов хотел, чтобы начальник приказом объявил Супругову выговор, но доктор Белов, по доброте, не согласился.

– Он же, знаете, хотел им доставить удовольствие, – сказал доктор примирительно. – Они в таком возрасте, когда это все нужно, как воздух, – кинематограф, знаете, танцы... оперетка... Может быть, он не знал, что нас отправят так скоро. Нам следовало его предупредить, не правда ли?

Данилов не стал спорить с начальником, но от него зашел к Супругову и сказал:

– Доктор, если вы еще раз распорядитесь командой без разрешения начальника или моего – вы будете переведены в другую часть с большими неприятностями. Это я вам гарантирую – и перевод и неприятности. Понятно?

Он повернулся и вышел. Супругов выслушал его, подняв глаза от книги, которую читал. Медленным взглядом он проводил Данилова...

Доктору Белову стала известна судьба Игоря.

Из Ленинграда пришло письмо – одно-единственное за все время. Оно было датировано 5 сентября, а попало в руки доктора 1 января, в день Нового года. Сонечка писала, что настроение тяжелое, но чтобы он о них не беспокоился – у них в доме оборудовано прекрасное бомбоубежище. Спрашивала, кто ему починяет белье и как камни. (Камни в почках, господи, с тех пор, как его призвали, он и думать забыл об этих камнях.)

«От Игоря, – писала Сонечка, – пришло вчера письмо. Он выехал из Пскова с танковой частью и раньше, чем немцы будут разбиты, домой не вернется». «Я не была удивлена этим письмом, – писала Сонечка, – меня удивило мое отношение к нему. Три месяца назад, если бы Игорь не пришел домой ночевать, я с ума сошла бы от беспокойства. А сейчас я даже не заплакала».

А Ляля приписала, что мама – молодцом, работает, и она, Ляля, работает, только уже не в Публичке, а в госпитале, регистраторшей. Ляля одобряла Игоря, только жалела, что он не заехал домой проститься.

Больше писем не было.

Когда пришли первые тревожные вести о блокаде и о начинающемся в Ленинграде голоде, доктор растерялся. Еда застревала у него в горле, он хотел есть и не мог... Данилов пришел ему на помощь.

– Ваша семья в Ленинграде, не выехала? – спросил он.

– Нет, – пролепетал доктор, – не выехала, знаете. Как-то мы об этом не подумали.

– Можно организовать посылку, – сказал Данилов.

Он все умел. Какими-то запутанными ходами, через знакомую библиотекаршу парткабинета, у которой дочь вышла за летчика, были переправлены в осажденный Ленинград, в адрес Сонечки, сухари, мука, топленое сало и всякая всячина. Доктор не знал, дошла ли посылка. Лучше было думать, что дошла. В день, когда ее отправили, у доктора было такое чувство, словно он только что до отвала накормил Сонечку и Лялю сухарями с салом, и он радовался, что они так сыты. Он копил сахар, печенье и другие лакомые вещи, перепадавшие от Соболя, и выжидал случая, когда будет удобно попросить Данилова организовать еще одну посылку.

С тех пор прошло много дней. Писем из Ленинграда не было. Уже два раза за эти месяцы санитарный поезд получил почту, но для доктора Белова в ней не было ничего.

Он был оптимист по натуре. Он волновался, конечно, но не слишком. Положение в Ленинграде несколько улучшилось, уже опять вывозят оттуда людей, он сам видел один эшелон... Это ужасно, ужасно, боже мой. Истощенные люди, страдающие голодным поносом. Дети, похожие на стариков... Но у Сонечки и Ляли были продукты. Иван Егорыч им послал. У них не может быть голодного поноса. Просто письмо еще не дошло.

А может быть, они выехали из Ленинграда еще до блокады. Сонечка всегда была такая распорядительная... И сейчас спокойно живут где-нибудь на Урале. И Ляля по-прежнему толстая, с розовыми щеками...

И скоро от них придут письма. Наверно, наверно, – они придут со следующей почтой. Целая стопка писем. Может быть, там будут письма и от Игоря. Мать написала ему адрес, и он пришлет отцу письмо. Ведь не навсегда же разошлись дороги... Он умный мальчик. Подрастет и поймет, что нельзя так ранить отцовскую душу. Сонечка их сведет и примирит.

О, когда же он придет, этот день, когда они все вчетвером сядут вокруг стола в маленькой столовой и лампа под старым абажуром с оборванными бусинками будет светить на любимые лица! И придет ли этот день?

«Да, все это будет,» – утверждала спокойная статная командирская фигура Данилова. «Какой может быть вопрос?!» – читалось в поднятых бровях и горделивом спокойствии Юлии Дмитриевны. «Ах, ну конечно, будет!» – говорило милое, беззаботно-плутоватое личико Лены.

И только Супругов не давал уверенности: кто знает, может – будет, может – нет...

Когда Данилова спрашивали, какое у него образование, он отвечал: низшее.

Это была правда: он был из крестьянской семьи, до восемнадцати лет безвыездно жил в деревне и окончил начальную школу, где ученье состояло из правописания, арифметики и закона божия. Всем предметам учила одна и та же учительница – «наставница», как ее называли в деревне.

И это была неправда, потому что, начиная с революции, он почти непрерывно учился. Его учили комсомол, партия, Красная Армия. Учили в специальных школах, на курсах, в кружках. Курсы иногда длились 10–15 дней, а занятия в кружках растягивались на годы.

Как будто он всегда был завален работой, как будто и времени не оставалось учиться, а между тем всегда он чему-то учился и, в сущности, много знал.

Он был практик-агроном, практик-ветеринар, практик-строитель, знал столярное, слесарное, кузнечное ремесла, бухгалтерию и торговое дело.

Когда он работал в деревне, он читал много книг по сельскому хозяйству. В санитарном поезде он взялся за медицинские книги. Ему хотелось понимать самую суть дела. Доктор Белов дал ему Пирогова. Данилов раскрыл толстый том с уважением и тайной опаской: не слишком ли специально пишет знаменитый хирург? Книга поразила его с первых страниц своей

доступностью, скрытой страстностью и напряженной актуальностью. Оказывается, еще во времена Севастопольской обороны 1854 года люди думали о том самом, о чем думал он, Данилов, в 1942 году: о наилучшей организации перевозки раненых в тыл.

Конечно, за девяносто лет дело эвакуации раненых здорово шагнуло вперед. Посмотрел бы Пирогов на кригеры, на вагон-аптеку, на нынешний хирургический инструментарий... И все-таки еще не все сделано. Еще очень много можно сделать нового, доброго. И, как всегда, у Данилова на это новое, доброе чесались руки.

Вдруг ему перестали нравиться вагоны. Они стали какими-то серыми и непривлекательными, даже кригеры.

Он не сразу сообразил, в чем дело. Потом понял: белье.

Сдав раненых в госпиталь, белье со всех коек снимали и отдавали в городскую прачечную, а оттуда получали взамен уже выстиранное белье. В прачечных не хватало работниц, они «зашивались», стирали скверно. Случалось, что вместо целых простынь подсовывали рваные.

– А у вас в вагоне-аптеке почему белое? – спросил Данилов Юлию Дмитриевну.

– Потому что для вагона-аптеки стирает Клава, – ответила Юлия Дмитриевна. – Я же не надена и доктору не подам такой халат, как вы думаете?

– А вы как думаете, – спросил он, – раненому приятно ложиться на такие простыни?

– Я уже думала, – сказала Юлия Дмитриевна, не обратив внимания на его колкость, – что хорошо бы все белье стирать самим.

– А если думали, – сказал он неодобрительно, – то почему молчали? Надо говорить.

– Хорошо, – сказала она. – Я вам скажу все, что думаю о нашем поезде. Я думаю, что его можно оборудовать гораздо лучше. Нам нужна прачечная, и еще нужнее, чем прачечная, – дезинфекционная камера для обработки мягкого инвентаря.

Он кивнул головой. Дезинфекционная камера – да, это для поезда первейшая вещь... Не раз он был свидетелем, как доставляли из санпункта одеяла и теплые халаты. К вокзалу их подвозили на грузовике, а потом тащили на руках. Иногда приходилось протаскивать их под соседними составами. Случалось, что одеяла из санобработки доходили до поезда вымазанные мазутом и угольной пылью, и виноватых не было. А Соболев и Богейчук всякий раз жаловались, что грузовик очень трудно достать, и только благодаря изворотливости Соболева им это удавалось.

– Я вам скажу одну вещь, – сказал однажды Соболев Данилову. – Вы поверите или нет, что у меня разрывается сердце, когда я думаю о помоях?

– Каких помоях? – спросил Данилов.

– Боже мой, каких! Отходы пищеблока.

Соболев сказал это обморочным голосом и закрыл глаза. Данилов взглянул на него с интересом.

Они выбрасывали под откос пропасть добра – кожуру от овощей, ведра объедков, выливали жирную воду, остающуюся от мытья посуды.

– Что же ты предлагаешь? – спросил Данилов.

– Мало ли что? – сказал Соболев, сразу поняв, что его будут слушать с сочувствием, и начиная кокетничать. – Мы можем откармливать животных.

– Где же, Соболев, где будет наша база? Мы же на колесах.

– Ну, ясно, откармливать на колесах, товарищ комиссар.

Обдумав предложение Соболева, Данилов дал согласие и склонил к нему доктора Белова. «Свежее мясо будет очень полезно в госпитальном рационе», – сказал он.

В багажном вагоне, в том его конце, который обращен к вагону-леднику, отгородили уголок и поместили там двух поросят. Смотреть за поросятами Данилов определил пожилому бойцу Кострицыну, понимавшему толк в сельском хозяйстве.

– Ничего, товарищ комиссар, – говорил Соболев, – мы преодолеем все трудности.

И, счастливо улыбаясь, пообещал:

– Мы с вами еще заведем курочек.

И они завели два десятка кур и петуха. Их поместили под вагоном в особой клетке, которую придумал Соболев. Доктор Белов заглянул и сказал:

– Они не будут так существовать. Они должны ходить по земле.

– По земле, товарищ начальник, каждая курица ходит, – отвечал Соболев. – Вот пусть они в таких условиях проявят способность нестись.

Позже он признался Данилову, что со страхом ожидал первого яйца: у него не было уверенности, сказал он, что куры будут нестись на ходу поезда.

– Теперь я считаю, что это даже должно способствовать, – сказал он, держа на ладони первое теплое яйцо.

В длинные дни так называемого порожнего рейса, когда санитарный поезд, сдав раненых в госпиталь, шел из дальнего тыла в ближний для новой погрузки, – в эти дни обступали людей мелкие, будничные заботы. Жизнь начинала казаться серенькой и однообразной. Трудно было представить себе, что где-то грохочут орудия и льется кровь. Что вот этот их собственный вагон, такой нарядный – белый внутри, темно-зеленый снаружи – пылал на псковском вокзале и они его тушили...

Но приближался час погрузки, и все менялось. Соболев не посмел бы в эти часы сунуться к комиссару с поросятами; да и самому Соболеву было уже не до поросят... Все или почти все испытывали чувство особенной ответственности, собранности, соприкосновения с тем огромным, ужасным и величественным, что приказало им собраться в этом поезде и жить так, как они жили, месяцы и годы, до дня победы.

И вот в вагоны-палаты, где каждая складочка на постели была любовно разглажена, с шумом, говором и стонами, стуча костылями, входила Война. Сразу десятками струек взвивался к потолкам махорочный дым. Комкались одеяла, дыбом ставились подушки. Запахом гноя, пота, крепким мужским дыханием вытеснялись запахи дезинфекции... Начинался груженный рейс.

Глава шестая **С запада на восток**

Лена исправно несла свою службу.

Она убирала вагон, раздевала и одевала раненых, помогала при перевязках, разносила обед, читала вслух газету, слегка запинаясь на названиях иностранных городов.

Ее любили раненые. Пожилые называли ее дочкой и гладили по стриженным волосам. Молодые говорили:

– Вот бы такую жену.

Она терпеливо убирала за ними и уговаривала их есть овсяную кашу, при виде которой они приходили в ярость.

– Прямо я удивляюсь вам, – говорила она. – Вы как маленький. Это же самое питательное, если хотите знать. Вот я спрошу у диетсестры, сколько тут калорий.

– Иди, иди к диетсестре! – кричали ей в ответ. – Пусть сама ест калории, а нас нечего овсом кормить, мы не лошади.

Но, расставаясь с нею при разгрузке поезда, они трясли ей руку, смотрели добрыми глазами и говорили:

– Дай адресок, сестренка, я хочу тебе написать, я тебя никогда не забуду.

Она отвечала:

– Не дам адресок, все равно – ты напишешь, а я не отвечу, не люблю я письма писать.

Она не любила писать, но писала часто – в один и тот же адрес, на одну и ту же полевую почту.

Пишешь, пишешь – и словно не в почтовый ящик, а в бездонный колодец бросаешь письма. Из колодца ни отзвука. Только через три-четыре месяца, когда поезд приходит к месту

приписки, приносят письма: в конвертах и без конвертов, сложенные угольничком, и на открытках, и на воинских почтовых бланках с красными звездами.

После получения писем Лена ходила сияющая, и ей казалось, что около самого ее уха звучит его голос, мужественный голос, вздрагивающий от нежности.

...Дни стояли сухие и знойные. В открытые окна на белые шторы, на простыни, бинты и халаты летела черная пыль. Санитаркам вдвое прибавилось работы: приходилось то и дело отряхивать занавески и постели, мыть пол, обтирать мокрой тряпкой столики, рамы, стенки... Раненые томились от жары, ели плохо.

Их только что забрали из госпиталя и везли далеко на восток, на Урал. В кригеровском вагоне, где работала Лена, лежало двадцать человек. Они капризничали, курили, отказывались пить кипяченую воду – требовали сырой, со льдом. Номер семнадцатый – ампутант, левая нога отнята почти по колено – не курил и ничего не требовал, но это было еще хуже. Он не ел и не спал. Лицо его, темно-бронзовое на белой подушке, заострилось, с него не сходила гримаса отвращения. Ольга Михайловна наклонилась к нему, заговорила ласково, как мать:

– Почему вы не едите? Вам не нравится пища?

– Благодарю вас, – отвечал сквозь зубы семнадцатый. – Пища хорошая.

– Может, вы бы съели что-нибудь другое? Свежее яйцо? Творожники? Вареники с ягодами? Назовите что хотите, мы сделаем.

– Благодарю. Мне ничего не надо.

Ольгу Михайловну ждали еще сто девять тяжелораненых. Сто девять эпикризов, сотни назначений, сотни жалоб от раненых – на жару, на овсянку, на зверство сестер, не дающих сырой воды; и сотни жалоб от сестер на раненых – сорят, увиливают от приема лекарства, велят устроить сквозняк... Ольга Михайловна дочитала историю болезни семнадцатого и сказала:

– Вы моряк, товарищ Глушков, вы должны взять себя в руки.

– Я был моряк, – сказал семнадцатый.

Лена засмотрелась на него: загорелое лицо с белым лбом и черными глазами напомнило ей лицо мужа.

– Лена! – сказала Ольга Михайловна. – Поправь подушку лейтенанту.

Она отошла. Лена подняла подушку, заглянула в черные недобрые, страдальческие глаза...

– Это тебя Леной зовут? – спросил Глушков.

– Да, – ответила она.

Он посмотрел на нее, и взгляд его стал мягче.

– Курносенькая, – сказал он и запнулся. – У меня сестру тоже Леной зовут... – И замолчал.

Ее позвали к другой койке. Она подавала раненым судно, уговаривала их пить кипяченую воду, стирала мокрой тряпкой пыль, оправляла постели, на стоянке, по просьбе раненых, сбегала на станцию и купила ведро малины. Веселый капитан, толстяк в гипсовом корсете, с прибаутками делил малину и Лене дал полную баночку.

В обед она опять подошла к Глушкову.

– Ешьте! – сказала она. – Это же индивидуальный обед, специально для вас военфельдшер заказала. Баранина с помидорами. А на ужин вам будут творожники. Ешьте!

– Я ем, ем, – нетерпеливо сказал он и положил в рот ломтик помидора. – Постой, курносенькая, не уходи, все время ты уходишь. Я буду есть при тебе.

– Хорошо, – сказала она и села рядом.

– Вы не едите, – сказала она немного погодя. – Вы только делаете вид. Вам нужно есть.

– Чтобы жить, что ли? – спросил Глушков.

– Ну, конечно. Чтоб жить.

– Я соврал про сестру, – сказал Глушков. – Она мне не сестра. Мы хотели пожениться. Теперь за другого пойдет... Ну, это наплевать. Это мне меньше всего, как говорится... Съешь эту индивидуальную баранину, если хочешь. Я не буду.

– Совсем не факт, что пойдет за другого, – сказала Лена.

– А мне безразлично, пойдет, не пойдет... Я не вернусь. – Он закрипел зубами. – Инвалид, мерзость какая... Явлюсь с деревяшкой... проклятые фрицы! Я выпишу маму к себе... куда-нибудь. Будем жить в другом месте. Мама за мной всюду поедет. Мамы – куда угодно поедут...

– И совсем не мерзость, – сказала Лена, глядя в одну точку перед собой. – Я не понимаю, как это может быть мерзость. И для мамы вашей и хоть бы для кого – вы и без ноги такой же близкий, как с ногой. И если хотите знать, то у вас самая чепуха. Вы остались и трудоспособный, и красивый, вы молодой, сможете учиться на что угодно, женитесь, – у вас вся жизнь впереди. И не деревяшка, а сделают вам хороший протез, будете ходить в ботинках, ничего даже не заметно...

Он закрыл глаза и замолчал. А она ушла в другой конец вагона, потому что ей вдруг ужасно захотелось погладить Глушкова по бритой голове. Положить руку ему на лоб, белый-белый над чертой загара. Даня...

Долгий жаркий день догорел наконец. Закончилась вечерняя суэта ужин, процедуры, последняя заправка постелей перед сном. В последний раз Ольга Михайловна прошла через вагон, потушила лампы, оставила одну – на столике у дежурной... Лена тихо ходила взад и вперед по толстому половику. Вагон – без перегородок, просторный, уютный, с шезлонгами и столиками был бы совсем как госпитальная палата, если бы не второй ярус подвесных коек. Десять коек справа, десять слева: пять внизу, пять сверху с каждой стороны. На каждой подушке – бритая голова, загорелое лицо... Лампочка в голубом абажуре бледно светила на эти темные лица, закрытые глаза, сомкнутые сном губы. Только Глушков не спал. Лена каждый раз, проходя, видела, как блестят его глаза.

Ей хотелось заговорить с ним, но она боялась. Почему она чуть не потянулась к этому белому лбу над бронзовой чертой загара?

«Мне жалко его, – говорила она себе. – Мне хочется его утешить. Я как сестра... Он похож на Даню. Вот подойду к нему, приласкаюсь. Немножко, чуть-чуть. И ничего тут нет особенного, если чуть-чуть... Но ведь я не влюблена в него! Вовсе нет: если завтра его спишут в госпиталь, мне будет все равно».

Это была правда.

«Подойду, подойду. У него глаза черные. Он со мной разговаривал ласково. Я пожалею его, он пожалеет меня».

«Вот сейчас подойду и заговорю с ним. *Разговорю* его, чтобы он отвлекся от своих мыслей. Я даже положу ему руку на лоб... Как родная сестра положила бы руку, так и я положу».

И она подошла к Глушкову. Но он спал.

Лицо у него было замученное. Дышал он как ребенок – тихо.

Она постояла, глядя, как ровно поднимается под рубашкой его грудь. Она заставила себя подумать: «Как хорошо, что он заснул», – а в глубине сознания шевелилось огорчение и даже обида.

Вдруг он всхлипнул – протяжно, со стоном. Наверно, плакал, пока не заснул, и во сне продолжает плакать. Он плакал, а она и не заметила.

Уже брезжило утро: летние ночи коротки.

«Я не буду никого ласкать, кроме одного-единственного, на всю жизнь единственного. Он мой муж, я его проводила на войну, он ушел, веря мне. Верь, Даня, верь, милый. Только ты мне нужен. Это просто брат спит – брат; тысячи таких братьев у меня... Но, Даня, зачем это все – раны, и страдания, и эти койки, и эти стеклянные утки, и эта тоска, когда так чудесна была жизнь, так полна счастья...»

Позвали с другого конца вагона: «Нянька!»

– Иду! – откликнулась она проворно и легким шагом пошла на зов.

На восемнадцатом месте, над Глушковым, во втором ярусе ехал Крамин.

Это был хилый человек малого роста, с голым блестящим черепом и острыми чертами

сухого насмешливого лица. Круглые очки в толстой роговой оправе еще больше обостряли эти черты. Крамин в очках был похож на филина.

У него был поврежден спинной хребет и парализованы обе ноги. Страдания, переносимые им, иссушали его тело, оно стало легким, как тело ребенка. Остаток жизни ему предстояло ходить на костылях. Иногда он откидывал одеяло и, выпятив нижнюю губу, рассматривал свои ноги, тонкие, желтые и вялые.

Когда его принесли в вагон, он потребовал книг.

– Пожалуйста, побольше, – сказал он.

Лена принесла ему из скудной поездной библиотечки все, что нашлось: «Евгения Онегина», изданного отдельной книжечкой, рассказы Джека Лондона, одинокий номер журнала «Пропагандист» за 1939 год и еще книгу, неизвестно какую, потому что ее первые и последние листы были уже раскурены.

– Прелестно, – сказал Крамин.

В первый же день рейса он прочел все. Читал он лежа на спине, низко над лицом держа книгу. Голова его дергалась при этом то вправо, то влево, так как он читал необыкновенно быстро. Казалось, что Крамин клюет книгу, как голодная курица зерно.

В поезде был обычай – перед погрузкой, готовясь к приему раненых, клали книгу на столик около каждой койки. Крамин один прочел все, что было в вагоне. По поезду пошел слух о человеке, за час глотающем книгу, которой другому хватило бы на целый рейс. Данилов, доктор Белов и сестры приносили Крамину литературу из своих собственных запасов.

И Крамин с той же быстротой и тем же углубленным интересом читал и хирургию Пирогова, и журнал «Крокодил», и роман «Ключи счастья», который принесла ему Фаина.

Когда книг не было, он снимал очки, закладывая руки под голову (ему явно доставляло удовольствие, что руками своими он может распоряжаться как хочет) и принимал участие в разговорах.

Он не был болтлив, – так, вставлял в общую беседу короткие реплики.

Он все находил прелестным.

– Прелестная каша! – говорил он, возвращая Лене пустую миску и смеясь очень светлыми, почти бесцветными глазами.

И о «Ключах счастья» он сказал Фаине:

– Прелестный роман.

– Правда? Правда?

Фаина обрадовалась, что умный человек похвалил книгу, над которой в штабном вагоне потешались.

– Разумеется, – отвечал Крамин.

Перевязками его не мучили. Иногда он тихо и вежливо просил впрыснуть ему морфий, и ему впрыскивали охотно. Ему предстояло долго валяться в госпиталях, прежде чем встать на костыли.

История Крамина была такова. Он служил юрисконсультантом на одном из самых больших и значительных заводов Ленинграда. Среди приятелей слыл книжником, театралом и сибаритом. Вел легкую и приятную жизнь. Жена у него была красавица.

И приятели удивились, даже не поверили, когда разнесся слух, что Крамин отказался от брони, пошел в армию и учится на курсах младших лейтенантов.

Пришлось поверить, когда кто-то из знакомых встретил на Невском Крамина, одетого в красноармейскую гимнастерку.

Он был выпущен в числе первых, получил взвод и в течение месяца выполнял с этим взводом незначительные разведывательные задания. Выполнял толково, но командование не особенно полагалось на него: хрупкость этого человека внушала недоверие.

Начинались страшные дни Ленинграда. Немцами были взяты Гатчина, Пушкин, Красное Село. В эти волшебные места, куда он раньше выезжал на дачу, Крамин ходил на разведку со своими людьми. Жену он эвакуировал из Ленинграда еще летом.

Однажды его вызвал командир батальона.

– Вам придется сдать взвод младшему лейтенанту Николаеву, – сказал он, не глядя Крамину в глаза.

– Разрешите узнать, почему? – спросил Крамин.

– Потому что ваш взвод будет отправлен в Невскую Дубровку.

Дубровкой назывался клочок земли на левом берегу Невы, длиною в полтора километра и шириною метров в семьсот, который наши войска отбили у немцев и который они поставили своей задачей удержать и расширить. Немцы держали под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем и этот клочок земли и переправы к нему через Неву.

– Прелестно, – сказал Крамин. – Но почему я должен сдать взвод Николаеву?

Комбат упорно глядел на пряжку его пояса.

– Это согласовано с комполка, – сказал он. В те дни еще был возможен такой разговор старшего командира с младшим. Видно, комбат рассердился; нахмурясь, он взглянул наконец в глаза Крамину.

– Очень вы легкий человек для Дубровки, – сказал он с грубоватой прямоотой. – Стеклышки эти, шуточки... Туда попрочнее нужен народ.

Крамин побледнел.

– Товарищ командир батальона, – сказал он. – Разрешите доложить, что больше месяца я приучал моих бойцов к мысли, что, возможно, скоро от нас потребуется, чтобы мы все вместе умерли. Все вместе, вы понимаете? И вдруг теперь они пойдут, а я останусь. Это невозможно. Это равносильно тому, как если бы мне дали пощечину перед строем.

Голос его от волнения стал тонким и пронзительным. Комбат был старый кадровик. Он понял.

– Хорошо, – сказал он без большой, впрочем, охоты. – Вы пойдете со взводом.

Темной, безлунной, дождливой ночью Крамин переправился через Неву со своими бойцами. Во время переправы немецкими снарядами было убито девятнадцать человек из его взвода.

Крамин покинул правый берег Невы командиром взвода, а высадился на левом берегу командиром роты: два взводных были убиты на переправе, их поредевшие взводы слиты с взводом Крамина, на ходу сформирована рота.

По траншее, до половины заваленной трупами, Крамин полз в глубь территории, отбитой у врага. Немецкие ракеты взлетали над Дубровкой. Немцы строчили из пулеметов по траншее. Весь следующий день Крамин и его люди просидели в окопах под ураганным огнем. К вечеру Крамин получил приказ – с наступлением темноты вести роту в атаку.

Ползком, перебираясь от окопа к окопу, он поднимал своих бойцов. Дождь не переставал, вода и огонь поливали Дубровку. Труса, отказавшегося покинуть окоп, Крамин застрелил.

Они ходили в атаку, захватили пленных, и уже при возвращении Крамин получил то ранение в спину, которое сделало его калекой на всю жизнь. Той же заваленной трупами траншеей два его бойца, русский и узбек, перетащили его на берег, где под обрывом, в защищенном от снарядов месте, находился пункт первой помощи. Оттуда Крамин в бессознательном состоянии был переправлен через Неву. Некоторое время он лежал в прифронтовом госпитале, потом его перевезли в Ленинград.

Так кончилась его военная карьера.

В ленинградском госпитале стекла окон были выбиты бомбежкой и заменены досками и фанерой. Читать было невозможно. Остаться сутками наедине со своей болью Крамин не желал. Он разослал записочки знакомым всем, каких только мог вспомнить. Ему доставили то, о чем он просил: линейку и рулон бумаги.

(Он так и просил – именно рулон.)

Он стал писать.

Он накладывал на бумагу линейку и писал повыше линейки. Кончив строку, спускал линейку немножко ниже. Строчки получались довольно ровные.

Он писал иронические письма жене и друзьям и пародии на стихи, которые передавались по радио.

Он был гурман, все стихи казались ему плохими.

Пародии выходили хорошие и искренне забавляли его. Бомбежки его не волновали: после Дубровки они казались совсем не страшными. Боль он переносил. Очень тяжел был холод; раненые лежали в гимнастерках, ушанках, чуть ли не в рукавицах. Крамин предпочел бы лежать в одном белье, он так привык. Ему не разрешали.

Он знал, что кругом люди умирают от голода. Он переносил это так же, как боль в позвоночнике: таял, как свеча на огне, и писал смешные эпистолы.

Одна женщина, жена его приятеля, принесла ему богатый гостинец: несколько печеных картофелин, стакан меда и постное масло, налитое в флакон из-под духов. Эта женщина, которую он знал легкомысленной модницей, пришла к нему в грязном платке и стоптанных мужских валенках, она казалась старше лет на тридцать. Он был тронут. Он поцеловал ее руку и написал ей сердечное письмо без всякого фиглярства.

В поезде Крамину не хотелось писать, он читал и разговаривал.

Народ кругом подобрался уравновешенный. Персонал предупредителен и вежлив – видимо, очень крепко держит его чья-то рука.

Особенно прелестна была простодушная и веселая женщина с завитыми стружкой волосами, которая так обрадовалась, когда он похвалил Вербицкую.

Нравилось, что он куда-то едет. Он всегда любил ездить и ездил много. Даже пытался устроиться на ледокол, шедший в арктическую экспедицию. Помешало то, что как раз в это время он влюбился – роман, женитьба, Арктика была отложена.

Теперь, конечно, ему уже никогда не придется побывать в Арктике.

Это ничего.

Он едет, за окном мелькают знакомые мирные пейзажи, он перечитывает знакомые книги, он сделал все, что успел, что дала сделать судьба, хорошо.

В поезде было не принято сообщать раненым маршрут. Этой коварной тактике командование поезда было научено горьким опытом первых рейсов. Стоило заикнуться о том, что поезд идет, например, через Москву, как в нем сейчас же обнаруживались десятки москвичей, которые начинали требовать, чтобы их оставили в Москве. Каждый желал лечиться у себя на родине. Доходило до скандалов, до прямых попыток бегства из поезда. Чтобы положить этому конец, решили держать маршрут в секрете.

Но Крамина нельзя было провести. Он слишком хорошо знал железнодорожную географию. На третий день рейса он поманил к себе Данилова.

– Товарищ комиссар, – сказал он прилично-конфиденциально, – мы едем через Свердловск.

– Ничего подобного, – сказал Данилов. – Вы ошибаетесь.

– У меня просьба, – сказал Крамин. – Моя жена в Свердловске. Дайте ей знать, прошу вас, что я еду через Свердловск. Мне хотелось бы повидаться с нею. Вот адрес. Если вас не затруднит. Буду чрезвычайно признателен.

– Да вы сшибаетесь, я вам говорю, – сказал Данилов, но адрес взял и телеграмму послал.

Еще был в вагоне Колька.

В истории болезни он назывался солидно: Николай Николаевич. Но весь вагон звал его Колькой и говорил ему «ты».

Было ему восемнадцать лет, он пошел на войну добровольцем, отличился под Вязьмой, был ранен, вылечился, опять попал на фронт, отличился под Орлом, был ранен и теперь ехал в дальний тыл для основательного лечения.

У него было уже два ордена, и третий ему предстояло получить. Он говорил об этих орденах с доверчивым восторгом, уверенный, что все разделяют этот восторг и смотрят на него, Кольку, с неизменным доброжелательством.

– Колька ты, Колька, – говорил толстый капитан в гипсовом корсете, к концу войны у тебя будет полный набор всех орденов. Лопай малину.

Колька ел малину и облизывал пальцы. Крамин делился с ним своим сахаром, потому что

Кольке дневной нормы не хватало.

Какие подвиги он совершил, он никак не мог рассказать толково. Бежал, стрелял. Полз, стрелял. Сидел, стрелял. В тактике он разбирался слабо. Хорошо усваивал только свою прямую функцию и хорошо выполнял ее, так выходило по его рассказам и его орденам. Капитан, внимательно слушавший его, сказал:

– Видать, командир у тебя был хорош, без командира ты, брат, ни черта бы не отличился.

Колька был из Воронежской области. Три года назад кончил семилетку, работал в колхозе бригадиром молодежной бригады. Крамин спросил его, почему он пошел добровольцем, не дождавшись, пока его призвуют. Колька ответил:

– А они хотят колхозы порушить и землю помещикам отдать.

Он сказал это просто, без надрыва, как говорят о бешеной собаке, что она бешеная.

Немцы, по словам Кольки, не страшные, бояться их нечего.

– Они на испуг нас хотели взять – чем? – мотоциклетами. Сядут триста человек на мотоциклеты и лупят по шоссе. Триста, а то четыреста... Тарахтят, треск, дым, – и прямо на тебя. Который послабже, тот пугается. А что тут страшного – мотоциклеты? Я до войны мечтал купить.

– А теперь? – спросил капитан. – Не мечтаешь?

– Ну! – сказал Колька. – Теперь я себе мотоциклет задаром добуду.

У него было чистое детское лицо, которого еще не коснулась бритва. Единственный во всем вагоне он стеснялся перед женщинами своей наготы, своей немощи. С задумчивым недоумением останавливались его голубые глаза на Лене.

Он был застенчив и в то же время не мог не говорить о себе и говорил, не боясь, что взрослые мужчины посмеются над ним.

– Самый страшный был момент, – рассказывал он, – когда меня ранили в первый раз. С непривычки от страха даже затошнило, думал – помру.

– Смерти испугался, значит?

– Нет! – ответил Колька. – Мне обидно стало, что я помираю, не повидавши еще ничего в жизни. Не повидавши, – повторил он, строго и требовательно глядя перед собой.

Он был ранен разрывной пулей в обе ноги. В госпитале у него начиналась газовая гангрена, но могучий организм пришел на помощь медицине, и заражение было побеждено. Теперь Колька считал себя здоровым. Он сам, при помощи санитарки, ходил на перевязки. Любил сидеть в шезлонге, положив на колени большие мальчишеские руки. Поза его была полна недетской уверенности и достоинства. «Я кое-что сделал и еще сделаю, будьте покойны», – говорила вся его фигура и губастое, голубоглазое открытое лицо.

Доктор Белов любил приходить в одиннадцатый вагон и слушать Колькины рассказы. Нет, конечно, Игорь не такой, совсем не такой. И лицо другое, и характер. «Игорь – тепличное растение, а Колька ясен, чист и свеж, как полевой цветок», – думал доктор. Но Игорь был такой же мальчишка, как Колька, даже еще моложе; и доктору было приятно смотреть на Кольку.

Данилов в неловко натянутом на саженные плечи белом халате сидел около Глушкова и пересказывал сегодняшнюю сводку. Выйдя на середину вагона, Данилов носком сапога стал чертить по половику карту Черного моря и крымских берегов; немцы рвались к Крыму.

– Трудно сказать, конечно, как будет, – сказал Данилов, – но, во всяком случае, на Севастополе он себе сломает не один зуб.

Он – это был фриц, немец, Гитлер, фашист, враг.

– Да, Севастополь получит от истории второй орден, – сказал капитан в корсете.

Заговорили о Москве, Ленинграде, оказавших немцам неслыханное сопротивление.

Данилов, говоря, все время обращался к Глушкову, словно приглашая его принять участие в разговоре.

И Глушков разжал стиснутые зубы, чтобы сказать вяло:

– Здорово обороняются наши города.

– Немец выдыхается, – сказал капитан, – факт.

– Я все жду, – сказал с верхней койки бледный красивый горбоносый грузин, раненный в голову, – где он споткнется. Я по географическому атласу гадал, откуда мы пойдем его гнать. – Он говорил с мягким акцентом и, договорив, сам засмеялся над своим гаданьем.

– Атлас для гаданья не годится, – сказал капитан. – А вот я видел в Пензе одну гадалку – поразительно предсказывает.

Тут же все засмеялись. Данилов собрался уходить. По утрам после завтрака он обходил вагоны и сообщал сводку. Перед уходом он крепко положил руку на плечо Глушкову.

– Бодрее, товарищ лейтенант, – сказал он так, чтобы только Глушков его услышал. – Бодрее. Есть надо, спать надо, жить надо.

Глушков взвел на него недоверчивые глаза.

– С двумя ногами жить весело, – сказал он громко.

– Безусловно, веселее, чем с одной, – сказал Данилов. – Никто не спорит. Но прикиньте: где вы побывали, там многие сложили головы. А у вас голова – спасибо, цела. Протезы делают нынче великолепные, ампутация у вас мировая, ходить будете легко. Надо считать, что вам повезло.

– Чем жить калекой, – сказал Глушков, – лучше умереть.

– Неправда, – спокойно и отчетливо сказал вдруг Крамин.

Он снял очки и подышал на стекло. Все замолчали – его любили слушать.

– Комиссар прав, – продолжал Крамин, аккуратно протирая стекла краем простыни. – То, что произошло с вами, редкая удача. Вы шли умереть (он рассматривал очки на свет)... и вы остались жить. То есть вы получили жизнь вторично. Придумайте что-нибудь равноценное этому подарку.

Он замолчал. Все ждали, что он будет продолжать.

Наконец капитан спросил:

– Милый человек, – хочу до конца понять вашу мысль, – а себя вы тоже считаете удачником?

– Несомненно, – отвечал Крамин.

Данилов ушел. Все замолкли, утомленные разговором. Вагон притих.

– Вот вы спрашивали Кольку, – отрывисто и неприязненно сказал Глушков, обращаясь наверх, к Крамину, – почему он пошел добровольцем. А вы как пошли на войну?

Крамин свесил с койки голову и заглянул вниз, на Глушкова.

– Извините, – сказал Глушков вызывающе. – Я вижу, что вы человек уже не особенно молодой и для войны не очень приспособленный. Специальность у вас, сразу видно, какая-нибудь ученая... Почему вы пошли? Чтобы порисоваться?

– Я состоятельный человек, видите ли, – сказал Крамин, возвращаясь к книге. – Я ходил защищать мое богатство.

Лена, проходя мимо койки Глушкова, заметила, что он плачет. Его спина и затылок дрожали не в такт толчкам поезда, а своей отдельной дрожью. Плечи судорожно поднялись и опустились...

– Саша! – шепотом позвала Лена, наклонясь к нему. – Саша, что ты!

Он глубже зарывал голову в подушку, стыдясь и в то же время радуясь, что кто-то подошел, пожалел... Она гладила обеими руками его стриженую голову.

– Саша, ну ничего, ничего...

Он повернулся к ней мокрым горячим лицом.

– Они думают... что я трус!

– Сашенька, что ты. Никто не думает, что ты выдумал, ну успокойся...

– Я же... совсем другое. Мне – море, я – что на море уже не вернусь, вы не понимаете!

– Тише, тише. Ну, успокойся. Ну, выпей водички. Ничего, ничего...

Он глотнул из кружки.

– Черт, – сказал он. – Нервы разыгрались...

– Нервы, нервы. Окрепнешь, отдохнешь, наладишь свою жизнь пройдет...

Но он никак не мог сдержать слезы, отвернулся, укрылся с головой...

Комиссар говорит: радуйся, что голова цела, а без ноги проживешь. Этот паралитик наверху говорит: второе рождение. И никто не понимает, что ему больше никогда не попасть на корабль.

В глазах его поднялась, как живая, высокая волна: одна стена ее была темно-зеленая и гладкая, как стекло, а другая морщилась мелкими живыми складочками; гребень на ее вершине вскипал и завивался. От нее пахло прохладой, солью, простором, от которого замирает сердце...

Шел обычный, осточертевший обход: доктор, фельдшер, сестра... Глушков слышал знакомые проклятые слова и скрипел зубами.

– Э, голубчик, вы потеете! – сказал доктор Белов капитану и потрогал его корсет.

На корсете проступало свежее пятно гноя.

– Потею, доктор, – отвечал капитан, – потею, что ты скажешь. Но самочувствие – идеальное.

– Не пришлось бы прорубать вам форточку, – сказал озабоченно доктор.

Высокая волна уходила в синюю волю, играя с ветром, сверкая под солнцем. И не было ей никакого дела до человеческих битв и слез.

Сержант Нифионов не принимал участия в вагонных разговорах. Он говорил только самые необходимые слова: «да», «нет», «дайте воды». Увидев нового человека, Нифионов задавал ему вопрос:

– Вы не знали такого – Березу, Семена Березу, пулеметчика?

И называл полк. Но ни соседи Нифионова по койке, ни доктора, ни сестры не знали пулеметчика Семена Березу. Они спрашивали Нифионова, кем ему доводится Береза. Нифионов не отвечал, он закрывал глаза, делая вид, что дремлет.

Хорошо бы узнать, жив ли Береза. Очень хорошо бы узнать, что жив. И если бы еще добиться, где он сейчас...

А разговаривать так, вообще – трепать языком – к чему это? Не о чем говорить, пока не решен самый главный вопрос. По этому вопросу Нифионов хотел бы посоветоваться с Семеном Березой.

Они были знакомы всего десять минут. Но Нифионову казалось, что у него не было и нет друга ближе Березы.

На том окаянном поле, где горячая пыль забивала глотку, справа от Нифионова в окопчике оказался неизвестный парень из другой роты. Нифионов видел сперва только его плечо, пилотку и разгоряченное ухо, парень строчил из пулемета, плечо подрагивало в такт. Наступило молчание, парень повернул голову и посмотрел на Нифионова светло-голубыми выпуклыми отчаянными глазами.

– Друг незнакомый, – сказал он, – поделись табачком!

Лицо у него было черное от пыли. Он взял у Нифионова из кисета щепотку табаку, кивнул и закурил, крепко и злобно зажимая папиросу в твердых губах.

Нифионов догадывался, что с этого поля он вряд ли вернется невредимым. Соседу он об этом не сказал. Он скрутил и себе папироску.

– Дай-ка, – сказал он, и сосед дал ему прикурить.

Они назвали себя друг другу. Снаряд разорвался за леском.

– Ни черта, – сказал Береза негромко.

Немцы отошли, опять начала бить их артиллерия. Береза смотрел перед собой, не жмурясь и не вздрагивая, строгое лицо его было как из чугуна. Нифионову было приятно, что близко от него плечо Березы – крутое, сильное, надежное плечо. Подумал: хорошо иметь близкого друга, хорошая вещь мужская дружба... – и перестал думать, перестал быть – надолго.

Как сквозь сон, он помнил один спор. Это было в госпитале. Спорили два доктора, думая, что он совсем без памяти и ничего не понимает. Один доктор говорил: придется отрезать обе руки и обе ноги. Другой говорил: только левую ногу. Они долго спорили. Нифионову было все

равно. Ему казалось, что настоящий Нифионов умер, а этот Нифионов, о котором идет спор, – другой, чужой, не настоящий, для жизни не нужный, и пусть ему режут что угодно. Хоть голову.

Сквозь слабый звон он слушал голоса докторов, потом вместо воздуха полилось ему в ноздри и рот что-то сладкое, удушающее, он покорно вздохнул и заснул крепко, на целую вечность, показалось ему...

Он проснулся. Он думал, что его разбудила боль. Боль была неизвестно где. Везде. Особенно в левой ноге, в раздробленной голени левой ноги. Он застонал слабо, как ребенок, – настоящий Нифионов не мог так стонать. От боли слезы потекли у него из глаз; настоящий Нифионов никогда не плакал. Старушка в очках, сидевшая около его койки, встала и сказала:

– Ну вот, слава богу, очнулся и плачет. Плачь, сынок, плачь. Тебе полезно.

Она ушла. Другая женщина подошла к Нифионову, вытерла ему губы и погладила по голове, как маленького.

Приходили доктора. Они больше не спорили, говорили тихо. Опять пришла старушка в очках, делала Нифионову вливания глюкозы. Спросила:

– Что болит, сынок?

– Нога, – сказал Нифионов.

– Которая?

– Левая.

– Ох-хо-хо! – вздохнула старушка.

Левой ноги у Нифионова уже не было, он узнал об этом на другой день.

С настоящим Нифионовым разве могло случиться такое – чтобы болела нога, которой нет?

В госпитале гордились тем, что удалось сберечь Нифионову правую ногу и обе руки.

– Доктор Черемных – отчаянная голова, – рассказывала Нифионову старушка. – Все поставил на карту: и твою жизнь, и свое имя. Не хочу, говорит, этого красивого мужика делать обрубок... Что ж, рискнул и выиграл. Смелому бог помогает. Смотри-ка, каким от нас выйдешь женихом.

Старушка хвастливо подмигивала:

– Твоя операция будет описана во всех медицинских журналах!

Нифионов слушал безучастно: какое ему дело до удачи доктора Черемных? Все равно этот ослабевший человек, измученный болью, весь в гипсе и бинтах, с неподвижными руками, – это не Нифионов.

Нифионов был уважаемый работник, мастер своего дела. А этот никчемный человек не может повернуться сам – его ворочает санитарка. От лежания на спине у него одеревенел крестец; под него подложен резиновый круг, надутый воздухом. Человек лежит, и ничего не может, и ничего не хочет. Безразлично, что с ним будет, – умрет ли, останется ли жив...

Та же старушка рассказала Нифионову, что его, раненого, вынес с поля боя товарищ. По слухам, товарищ сам был ранен, но все-таки доволлок Нифионова до пункта первой помощи. «Это Семен Береза», – подумал Нифионов и спросил:

– А он жив?

– Вот уж, милый, чего не знаю, того не знаю, – ответила старушка.

Однажды Нифионову сказали, что его повезут в другой город, в другой госпиталь. Нифионова одели, положили на носилки и вынесли на улицу. Свежий яркий горячий воздух охватил и ослепил его. Ветер рванул фуражку с головы. Нифионов вовремя придержал фуражку, чтобы не улетела...

– Осторожнее с гипсом! – прикрикнула санитарка.

Нифионов растерянно посмотрел на свою руку, которая вдруг начала работать. Вот как? Значит, не врут доктора, он начнет двигаться, сила вернется к нему? Он – настоящий Нифионов?...

От воздуха у него закружилась голова, зазвенело в ушах, он зевнул и задремал на носилках...

Последняя дрема, последний приступ благодатной слабости.

В поезде Нифионов проснулся окончательно. Проснувшись, почувствовал, что спать ему больше не хочется. Что ему очень хочется есть. Что он прежний, живой, настоящий Нифионов, в котором под гипсом и бинтами созревает прежняя сила.

Он лежал и смотрел в потолок. Потолок сложен из аккуратно пригнанных узких дощечек. Низко над койкой. Белый-белый, вымытый. Блестела масляная краска.

Подвесная койка от толчков поезда чуть-чуть покачивалась, как люлька. Но ничто больше не могло убаюкать Нифионова.

Для чего возвращается прежняя сила, когда одной ноги нет, а другая хоть есть, но не сможет ходить, – это-то он понял из туманных разговоров докторов! Что ему делать с прежней силой?

Стоят на фабрике станки, ряды станков. Их точеные части движутся и блестят. Он ходил между ними – легкий, и сам любовался, как неторопливо и споро идет у него работа.

Приходили журналисты и потом писали в газете забавные вещи например, высчитывали, сколько километров Нифионов проходит по цеху в течение своего рабочего дня.

У него был хороший заработок, хорошая слава, хорошее имя: и отец его, и дед работали на этой же фабрике. Профессию он не выбирал, а принял в наследство, как домик, где он родился и где умерли его родители.

У него есть жена... Приятели посмеивались: послал бог Нифионову семейное счастье. Жена – председатель фабкома. Она возвращалась домой поздно вечером, смотрела на мужа добрыми глазами, затуманенными усталостью, и машинально спрашивала:

– Что я хотела тебе сказать?

Он разогревал ей ужин и наливал чай. Он подшучивал над нею, жалел ее и очень уважал. У них две девочки, они росли как-то сами по себе: зимой ходили в школу, летом уезжали в пионерский лагерь...

Как они все будут плакать, когда узнают, что он без ног. К жене в фабком будут приходить бабы, ахать и жалеть вслух, попросту... Все это пустяки, мелочь. Не такую беду выдерживают люди. Не в ногах дело и не в том, что жена и дочки поплачут.

Дело в том – в каком же образе выйдет из гипса бывший настройщик Нифионов, кем он будет, где теперь его место в жизни? Ни жена, ни дочери, ни умная книга не дадут ответа на этот вопрос. «Только я сам могу решить», думал Нифионов.

Данилов проходил мимо.

– Товарищ комиссар, – позвал Нифионов.

Данилов подошел.

– Товарищ комиссар, – повторил Нифионов, стесняясь, – вы не помните, вам случайно не пришлось перевозить такого – Семена Березу, пулеметчика?

Данилов подумал:

– Нет, не вспомню. Родственник?

– Да нет, так, – ответил Нифионов, – знакомый один.

Ему казалось, что только с Семеном Березой он мог бы посоветоваться о своем деле.

Дело было такое.

В прежние мирные и счастливые дни за Нифионовым водилась маленькая слабость, которой он почти стыдился.

Эта слабость была – баян.

Баян остался в доме от старшего брата, убитого в империалистическую войну. Нифионов самоучкой научился играть. Он любил музыку, у него был верный слух. Одним из первых он отважился исполнять на баяне вальсы Шопена.

До женитьбы он охотно играл на именинах и свадьбах. Жена сказала, что это неинтеллигентно. Впрочем, она разрешила ему играть в клубе на вечерах самодеятельности.

С годами он выступал все реже: прошла молодость, которой все позволено; он стал солидным человеком, о нем писали в газетах, у него была почтенная специальность, жена его была на виду у всей фабрики. Ему самому стала казаться неприличной его страсть к баяну. Он

играл дома, когда никого не было.

Теперь он лежал и думал: а что в баяне непочтенного? Это все Ольгина фанаберия. Подумаешь, член фабричного треугольника. Очень хорошо, на здоровье, – а я буду играть на баяне.

Ему представилось, как он медленно, на протезе и с костылем, выходит на эстраду. В зале притихли, смотрят на его костыль... Нифонов садится на стул. Мальчик-ученик подает ему баян.

Может быть, именно баян – его настоящее призвание, а не настройка станков. Кто его знает?

– Такие, Оля, дела. Придется жить с баянистом.

Страшно: вдруг доктора ошиблись? Вдруг он не будет владеть руками как следует? Какое, оказывается, счастье владеть руками и играть на баяне, он и не подозревал, какое это счастье...

И, что ни говори, как-то жутко в сорок лет, прожив степенную, хорошо устроенную жизнь, пускаться на новый путь. Посоветоваться бы с близким другом, мужчиной, смелым, решительным, без предрассудков...

– Няня! Подойдите. Слушайте, вы не припомните, не встречался вам тут в поезде Семен Береза, пулеметчик?

В Свердловске к доктору Белову явилась очень красивая молодая дама и вручила ему бумагу из эвакуационного пункта. В бумаге было сказано, что младший лейтенант Крамин принимается в свердловский госпиталь.

– Он очень искалечен? – спросила дама. – Я его жена, – прибавила она.

– Он будет пользоваться костылями, знаете, – ответил доктор. – Но для умственной деятельности он сохранен. Безусловно сохранен. И знаете, – продолжал доктор, движимый желанием сообщить даме как можно больше утешительного, – он удивительно владеет собой.

– Да? – сказала она. – Это хорошо.

Она держалась очень прямо, закинув голову, и говорила спокойно и негромко. Чем-то ее красивое лицо напоминало лицо Крамина... «Он ее многому, должно быть, научил», – подумал доктор.

Вместе с дамой он прошел к одиннадцатому вагону. Крамина вынесли на носилках. Дама тихо и прямо стояла около доктора... Жаркое солнце осветило желтый череп и тонкую желтую шею Крамина и вспыхнуло в стеклах его очков. Дама вдруг шагнула вперед и наклонилась над носилками.

Крамин слегка отстранил ее и, жмурясь от солнца, сказал:

– Здравствуй, здравствуй, Инночка. – Он поцеловал ее смуглую тонкую и крепкую руку. – Разрешите мне попрощаться с доктором...

«... и многому еще научит», – думал доктор, глядя, как она шла по перрону рядом с носилками, что-то говоря мужу и повернув к нему свою прекрасную голову преданно и покорно.

Глава седьмая **Письма**

На обратном пути из Омска санитарный поезд застрял в потоке, двигавшемся на запад. Маршруты с танками, самолетами, орудиями и горючим вырывались вперед по зеленым улицам открытых семафоров. Санитарный поезд двигался медленно, то и дело вынужденный уступать дорогу очередному километровому маршруту с военным грузом. В Перми простояли восемь суток.

Все люди в поезде утомились не столько от длительного рейса порожняком, сколько оттого, что в эти бездельные дни упорно думалось о доме, о близких, о том, когда же будут письма...

Особенно мучился доктор Белов.

Скоро год, как было написано то письмо от пятого сентября. Уже и вторая посылка пошла в Ленинград из Омска, а из Ленинграда ни слуху ни духу.

Письма, конечно, есть, они лежат в В., в их почтовом ящике. Но когда поезд попадет в В.? Данилов решил командировать кого-нибудь за почтой.

Желающих ехать было достаточно: многие были из В., командировка означала возможность побывать дома. Сам Данилов охотно поехал бы...

Он выбрал Лену.

– Живым духом туда и обратно, – сказал он ей. – В РЭПе узнаешь, где нас поймать. С пассажирскими не связывайся, товарными скорей доберешься. С поезда на поезд на всем ходу. Ну, тебя не учить.

Он дал ей маленькую посылку, с килограмм весом, аккуратно перевязанную веревочкой; за веревочку заткнута бумажка с адресом.

– Вот, передашь. Там сын растет, ему нужно. – Он сдвинул брови, чтобы скрыть улыбку, выдававшую его слабость к сыну. – Посмотришь, каков он, не захирел ли. Жена и напишет, так у нее ничего не поймешь.

С полной сумкой писем и адресов Лена пересела на первый подвернувшийся товарный маршрут и уехала, а в санитарном поезде еще медленнее потянулись дни ожидания.

Ольга Михайловна придумала сварить для раненых варенье и засушить грибов. Пошли с ведрами в лес. Юлию Дмитриевну немного волновало – пойдет ли Супругов. Она была в восторге, когда он спросил ее:

– Вы разрешите присоединиться к вам?

Именно к ней он обратился с этим вопросом; не к Ольге Михайловне и не к Фаине, которые тоже собирались, а к ней.

Ей было сперва неловко, когда они пошли рядом. Она не привыкла гулять у всех на глазах с мужчиной, в которого была влюблена. К счастью, вместе с ними пошли Фаина и несколько санитарок. Фаина повязала голову желтой косынкой и овладела разговором. Закидывая голову, она хохотала, хотя смешного ничего не было. Юлия Дмитриевна молчала и думала о том, что она, Юлия Дмитриевна, никогда не смеялась так громко. И о пустяках она не умела разговаривать, все ее речи звучали серьезно и поучительно, – может быть, это и отпугивало от нее мужчин... Да, мужчины любят вот таких женщин, ярких и шумных, которые, не задумываясь, бросают легкие двусмысленные словечки и хохочут, запрокидывая голову и надувая горло. «Что же делать, если я так не умею?» – рассудительно думала Юлия Дмитриевна. И ей уже было досадно, что Фаина пошла с ними...

В лесу девушки отделились от них, и они остались втроем – Юлия Дмитриевна, Фаина и Супругов. Фаина первая нашла грибное место и кричала Супругову, чтобы шел ей помочь. Супругов не торопился: он прислонился к сосне, закуривая самодельную папиросу, – Юлии Дмитриевне он показался в этот момент необыкновенно интересным, – и, казалось, забавлялся бурными зазывами Фаины. Он поймал взгляд Юлии Дмитриевны и сказал, улыбаясь:

– Жизнерадостная особа, правда?

Ей стало сразу весело: он вовсе не очарован Фаиной, он иронизирует по ее адресу, а она-то думала, что Фаина непременно его очарует... Нет, видимо, он действительно предпочитает всем женщинам в поезде Юлию Дмитриевну.

Фаина не намеревалась сдать так легко, она пришла и утатила Супругова, крепко держа его под руку и подталкивая плечом и даже, кажется, коленом... Юлия Дмитриевна шла за ними, слегка посмеиваясь. Присутствие Фаины теперь не тяготило ее, напротив – оно было поводом к какой-то особенной дружеской интимности ее с Супруговым, к каким-то взглядам и усмешкам, смысл которых был понятен только им двоим...

К сожалению, приятная прогулка длилась недолго, потому что грибов было множество и ведра наполнились слишком быстро. Выручила Фаина. Она объявила, что воздух в лесу целебный и что незачем возвращаться так скоро домой, в вагонную духоту. Она легла у опушки на мягкую траву в огромной черной тени леса, предвещавшей близость вечера, и позаботилась о том, чтобы принять самую соблазнительную, по ее понятиям, позу. Юлия Дмитриевна и

Супругов скромно сели рядом.

– Доктор, – сказала Фаина с закрытыми глазами, – скажите, вы всегда были такой неживой?

Супругов сделал вид, что не понял.

– Как неживой? – спросил он, переглянувшись с Юлией Дмитриевной. – Я всегда ощущал в себе достаточно жизни.

– Ваши ощущения вас обманывают, – сказала Фаина протяжно.

И так как он молчал, она взялась за него снова:

– Вы любили когда-нибудь?

– Странный вопрос, – ответил Супругов.

– Вы – удивительное явление, – сказала Фаина. – Сорокалетний холостяк в наши дни – редкость. Теперь все женаты, на кого ни взгляни. Мальчишки двадцатилетние – и те женаты, или женятся, или есть невеста. У вас есть невеста?

– Но я же не мальчишка, – пошутил Супругов.

– Нет, позвольте, позвольте! – закричала Фаина, с детской резвостью кувыркнувшись в траве, чтобы повернуться к нему лицом. – Отвечайте на вопрос!

Юлия Дмитриевна слушала разговор и глядела на небо. Оно было прекрасно на исходе дня – не голубое, не золотистое – высокое, неопределенной окраски и все насквозь пронизанное нежным, умиротворяющим светом.

«Мне хорошо, – думала Юлия Дмитриевна, улыбаясь этому небу, и этому разговору, и неопределенной светлой надежде, которая рождалась или готова была зародиться в ее сердце. – Мне очень хорошо».

– Форменный обалдуй, – сказала ей Фаина, когда они вернулись в поезд.

Лена шла по знакомому городу.

Было досадно, что трамвай не ходит, что-то случилось с путями, хотелось скорее добраться до РЭПа и получить Данины письма. Невольно она отметила, что на улицах очень мало мужчин, почти все одни женщины. На станциях не то, там почти сплошь мужчины в военной форме...

Но вот она дошла до бульвара, осененного широкими спокойными вязами, и замедлила шаг. Сейчас она пересечет бульвар, и в переулке откроется дом, второй от угла, трехэтажный серый дом, обитель ее короткого счастья... Вот он, такой же, как год назад. Только немножечко обветшал, и парадная дверь уже не кажется такой парадной, она даже как будто стала чуть-чуть ниже и уже...

Нет, она зайдет сюда потом, сначала надо получить почту.

В РЭПе ей выдали целую кучу писем и десятка два посылок и бандеролей. Посылки были маленькие. Лена ссыпала их в мешок. Проворно она перебрала письма: на ее имя ничего не было.

Она села на скамью в пыльной экспедиции и еще раз пересмотрела все письма по одному. Вот Данилову письмо; по обратному адресу видно, что от жены; и ему же письмо в большом конверте со штампом Центрального Комитета партии. Вот доктору Белову письмо из Ленинграда. Вот Наде, и опять ей, и опять, – от жениха, наверно... Богейчуку штук тридцать. Всем есть, решительно всем, до единого человека, только ей, Лене, ни одного письма.

Она ссыпала письма в тот же мешок, где были посылки, взвалила мешок на спину и пошла домой.

Может быть, письма там. Он писал на воинский адрес, а потом почему-нибудь передумал и стал писать на домашний. У соседей спросить или в домоуправлении.

С мешком за плечами, не горбясь и не задыхаясь, она быстро поднялась на третий этаж.

Дверь с английским замком. У Дани был свой ключ, какой-то неудачный ключ, отпирал не сразу. Лена всегда слышала, как Даня возится с замком, стараясь открыть его, и нарочно не шла отворять: ей нравилось слушать, как нетерпеливо ключ царапается в скважине.

У соседей писем не было, у них ничего не было – ни дров, ни керосина, ни мыла, ни

ниток. Они окружили Леку, эти старухи, сидевшие дома, и перечисляли все, чего у них нет. Молодые были в армии или на работе.

Лена отстранила старух и спустилась в домоуправление.

Там тоже не было писем. Она взяла ключ от своей комнаты и не спеша поднялась наверх. Она вдруг почувствовала страшную усталость. Трое суток она почти не спала и ни разу не раздевалась.

В комнате все вещи были на тех местах, где она оставила их. Везде толстым слоем лежала пыль. Белая занавеска стала желтой.

Недокуренная папироса лежала в пепельнице – Данина папироса...

Лена сняла сапоги, легла на диван и стала отдыхать, как ее когда-то учили: ослабив все мышцы и дав покой всему телу. Она не понимала, почему нет писем, но беспокойства у нее не было: Даня жив. В комнате пахло его табаком... Умирают те, у кого есть в жизни какая-нибудь трещина; вот в эту трещину и проникает смерть. К нему у смерти нет лазейки. Чудесно наполненной была его жизнь; что может пресечь его дорогу?

Он – мертвый? Кто угодно может умереть, только не Даня.

Закрыв глаза, она поцеловала его и уснула.

Часа через два она проснулась, отдохнувшая и бодрая, и стала прибирать в комнате. Сняла грязные занавески, обтерла пыль и вымыла пол. Папиросу оставила в пепельнице.

В кухне возилась соседская бабушка. Она что-то жарила на электрической плитке и при виде Лены проворно выдернула из штепселя электрошнур.

– Вот – лимит какой-то ввели, бытовые приборы не велят жечь, неопределенно пожаловалась она и унесла плитку с чадающей сковородой к себе в комнату.

Лена накормила соседскую бабушку паштетом и напоила чаем с сахаром. Бабушка пила чай и жаловалась, что внук съел ее конфеты.

«Скучно живут на гражданке, – подумала Лена. – Мы лучше живем».

Она приняла холодную ванну и с удовольствием надела широкий мягкий халат. В этом халате она была совсем другая, она была та Лена, на которую оглядывались на улице... Стоя перед зеркалом, она улыбнулась себе. «Да, мы такие, – сказала она, подняв левую бровь. – Мы такие, мы можем по-всякому, мы можем как нам будет угодно...» И сразу сбросила халат: ей вдруг пришло в голову, что письма могут оказаться у Кати Грязновой.

Каким образом они могли быть у Кати – непонятно, муж Лены не очень-то и жаловал Катю, говорил, что она дура и мещанка, но Лена верила, что письма должны где-то быть и нужно только постараться их разыскать.

Катя встретила ее рыданиями и воплями – ее муж, тот самый молодой человек с мандолиной, был убит; два месяца назад Катя получила похоронную.

– Ты не знаешь, как он меня любил! – рыдала Катя. – Он меня буквально носил на руках!

Лена вспомнила, как Катин муж прислал ей письмо с объяснением, и невольно подумала, что вряд ли он мог здоровенную Катю носить на руках, скорее наоборот... Но Катин горе было искренне и шумно; она в подробностях рассказывала, как ее вызвали в военкомат, усадили на стул и стали *готовить*, и она все поняла, и ей стало дурно, и ей дали воды, и как она до сих пор переживает и не может перестать переживать... И слезы ручьями бежали по ее добрым толстым щекам.

– От Дани нет писем, – сказала Лена.

– Везде горе, везде, – шелестела в соседней комнате Катина мама. – Ни одного дома не минует, всех переберет...

Писем у них, конечно, не было.

Вечером Лена отправилась разыскивать дом Данилова.

Дом этот находился на окраине, которую начали застраивать перед войной. Вход был со двора, ворота закрыты. Пока Лена шла, уже стемнело. Она постучала в окошко, освещенное неярким светом.

Окошко открылось створками на улицу, как в деревне. Отодвинулась занавеска. Женщина в платочке, очень простенькая, высунулась из окна.

– От Ивана Егорыча с посылкой, – сказала Лена.

– Ох, господи, – сказала женщина.

Она впустила Лену во двор и через темную кухню провела ее в комнату. Около швейной машины горела кабинетная настольная лампа. Все стулья и диван были завалены огромными свертками ваты и кусками материи защитного цвета. В углу дивана, в забавной и неудобной позе, спал ребенок лет пяти, положив голову на сверток ваты.

– Вы садитесь, пожалуйста, – говорила женщина тихим растерянным голосом. – Вы из санпоезда?

Она усадила Лену, а сама стояла против нее, то вкалывая швейную иглу в отворот блузки, то вынимая опять.

– Ну, как он там, – спросила она, – здоров?

– Ничего, здоров.

– А не передавал он, не слышно там у вас, когда конец?

Лена не поняла:

– Какой конец?

– Войне конец. Ведь уж всем надоело.

Лена смотрела на нее с удивлением. Не такую представляла она себе жену Данилова.

– Нет, – сказала Лена, – откуда же он знает. Вот посылку передал.

– Опять сахар, – сказала Данилова, взяв посылку. – Зачем он это, ведь от себя отрывает, а Ванюшка сыт. Вы ему скажите, мы сыты, выпутались из тяжелого положения, пусть не беспокоится, мало заботы ему... Заснул, сказала она, перехватив взгляд Лены, устремленный на ребенка. – Некогда было раздеть его, так и заснул, где играл. Я, вот видите, работаю. Надомница. Ватники на армию шьем. Не хочется отдавать его в садик, неважно там кормят, так я беру на дом. Все-таки дают рабочую карточку... Я сейчас поставлю самовар.

Лена попробовала отказаться.

– Нет уж, – сказала Данилова, – как же так, от Ивана Егорыча человек, и я даже чаем не напою. Нельзя!

Она колола в кухне лучику и, заглядывая в дверь, говорила:

– Сейчас слава богу, а когда только ввели карточки, я даже растерялась – как же мы с Ванюшкой проживем? Много значит привычка: мы до войны привыкли кушать очень хорошо... Иван Егорычу, конечно, не писала, – чем он может помочь, аттестат прислал, а больше что с него взять? Он и сам видел, когда заезжал... Ну, сначала огород выручал, я картошку продам молока куплю, а теперь вот у меня рабочая карточка, так что совсем ничего. Потом у меня родня в деревне, они мне, спасибо, иногда сметаны привозят, я из сметаны масло для Ванюшки бью. Меркулов помогает – нынешний директор треста: весной дров прислал и опять обещает... Вы ему, пожалуйста, передайте – хорошо, мол, живут, пускай не думает...

– А вы бы сами написали, – сказала Лена.

– Ну как я там пишу, – сказала Данилова. – И некогда мне с этой работой.

Ели картошку, разогретую на щепках, и пили чай в кухне за столом, покрытым чистой клеенкой. Вообще каждая вещь в домике была очень чистая, и Лена подумала, что в доме Данилова иначе и быть не может. Сахар в вазочку Данилова насыпала из пакета, привезенного Леной. Масла не было вовсе.

– Давно не привозили сметаны, – сказала Данилова, оправдываясь. – А карточку за август еще не отоваривали.

«Да, скудно живут на гражданке», – опять подумала Лена.

– Я и Ванюшку приучаю работать, – сказала Данилова. – Не дай бог чего, мы с ним вдвоем останемся, всякое дело должен уметь...

Лена все больше дивилась: да неужели Данилов даже не сообщил жене, что поезд перевели в тыл?

– Мы теперь на фронт больше не ездим, – сказала она. – Все время в тылу. Так что вы не бойтесь.

– Ну, мало ли что, – вздохнула Данилова. – Военное время. Где угодно могут разбомбить.

Она задумалась, в ее усталом лице было выражение готовности принять любой удар судьбы...

«Как они живут вместе? – думала Лена, идя домой. – Как он живет с ней? Как она живет с ним? О чем они говорят? Как это скучно, должно быть... То ли дело я и Даня».

На другой день она выполнила остальные поручения и поехала навстречу санитарному поезду. В РЭПе ей сказали, где его искать.

Стояли в 3., на узловой станции. Станция была забита поездами – все военные, все первой очереди.

В вагонах нечем было дышать.

Доктор Белов прошелся вдоль поезда. Сухая угольная пыль противно хрустела под ногами... Из-под вагона команды пел петух: там помещались поездные куры в специальных клетках. Около вагона стояли красноармейцы и детишки. Носильщик остановился со своей тележкой и заглядывал под вагон. Какая-то девочка, подпрыгивая, кричала:

– А когда поезд идет, у них хвосты развеваются!

Тут же стоял Кострицын со строгим и недовольным лицом. Красноармейцы смеялись. Один сказал:

– Петух, обратите внимание, и под вагоном поет. Такой мужчина неунывающий.

Другой сказал, поплеывая шелухой тыквенного семени:

– Боец за курами ходит.

Доктор подошел ближе... Красноармейцы посмеивались.

– Вы видите, товарищ начальник, что делается? – спросил Кострицын.

– Ну-ну, – сказал доктор. – Все это не так страшно.

– В один прекрасный день, – проворчал Кострицын, – я лягу под паровоз через эти насмешки.

– Глупости, – сказал доктор. – Зайдите ко мне, поговорим.

Он пошел дальше. На крыше восьмого вагона Супругов принимал солнечную ванну. Он был в трусиках и тубетейке. В окне вагона-кухни тряслись толстые голые руки Фимы – она ощипывала курицу. Тарахтела механическая картофелечистка. Слышался голос Соболя:

– Почему вы считаете прежнее количество порций, когда Огородникова уехала? Вы считайте минус одна порция. А у Низвецкого колит – считайте минус еще одна порция...

«Однако, – подумал доктор Белов, – какую картину полноты жизни являет наш поезд».

Ему вспомнился их первый рейс. Вот этот кригер тогда горел, все стекла вылетели. Теперь у них под вагоном несутся куры. Поезд оброс бытом, он стал жильем, домом, хозяйством.

«Что же, – подумал доктор, – это естественный ход вещей».

Он подумал это вяло, он заставлял себя думать о том, что его окружало. С тех нор как уехала Лена, его томила тревога. Те доводы, которыми он себя еще недавно успокаивал, теперь казались ему детскими. Он уговорил себя, что все будет благополучно, и тешился своими выдумками. Если даже та посылка дошла к ним, на сколько времени им могло хватить ее? Ну – на месяц, при очень большой экономии... На днях он узнает их судьбу. Он будет держать в руках конверт, исписанный Сонечкиным почерком. Он знал этот почерк наизусть, каждую букровку знал по памяти и каждый хвостик... Почему один конверт? Пачка конвертов. Ах, пусть хоть один, хоть знать, что они существуют...

Был такой же жаркий день прошлым летом, в начале июля. На станции Витебск-Сортировочная, в Ленинграде. Так же стояли составы на всех путях... Нет, там их было меньше.

И вдруг откуда-то вышла Сонечка в сером платье...

Он спрашивал у Данилова, когда вернется Лена, тот сказал – дней через восемь.

Восемь? На всякий случай возьмем десять.

Доктор нарисовал в своей клетчатой тетради десять синих кубиков. Когда кончался день, он перечеркивал один кубик красным карандашом.

Все это утро Данилов провел у коменданта, добиваясь отправки поезда. К обеду подали

паровоз. Из 3 выбирались мучительно, застревая у каждого семафора. Наконец пошли немного веселей.

И вдруг понеслись полным ходом, пролетая с грохотом мимо крупных станций, где стояли, провожая их взглядом, люди с поднятыми флажками: пришла телеграмма о том, что им надлежит срочно прибыть в Р для приема раненых.

Был вечер. Доктор Белов достал свою тетрадку и хотел перечеркнуть еще один синий квадратик, седьмой по счету: семь дней не было Лены... Постучали в дверь. Это был Кострицын. Он шагнул в купе – седой, громоздкий, руки по швам.

– Вы садитесь, – сказал доктор. – Давайте, знаете, поговорим попросту. Вы сядьте. Сядьте, сядьте.

Кострицын сел.

– Ну? – сказал доктор. – На что вы жалуетесь?

Кострицын покашлял в кулак.

– Товарищ начальник, – сказал он, – вы тоже не молоденький, войдите в положение. Буквально нет такого человека, чтобы не скалил зубы.

– Да, – сказал доктор, – это, конечно, феерия – я говорю о курах. Но раненым, знаете, полезны свежие яйца. Очень полезны.

Поезд замедлил ход, приближаясь к станции. Он остановился, но сейчас же послышался свисток, и колеса снова пришли в движение...

– Товарищ начальник, – начал Кострицын вторично, – я не для того записывался добровольцем, чтобы кур пасти. Я думал, что санпоезд – это тоже боевое дело. А тут ни за что ни про что, изволь радоваться...

– Мне говорили, – невинно польстил доктор, – что вы любитель и специалист по части сельского хозяйства.

Кострицын кивнул головой:

– Точно, я это дело понимаю с детства. У нас в поселке все занимались. Лично я держал козу. Но одно дело дома, другое тут. Против поросят я не имею возражения: они в багажнике. Никто тебя не видит. Шито-крыто. Без улыбок этих. Но куры, будь они прокляты! У всех на виду!

– Ах, Кострицын, – сказал доктор, вздохнув, – все это такая мелочь... Будет день – мы их всех съедим под белым соусом...

Кострицын не слушал:

– Надо выпустить размяться? Ведь животное мучается в клетке... Выпускаю, где возможно. Гуляют. Метров за триста уйдут от поезда... Просишь девочек: девочки, попасите их. А девочки молоденькие, о принцах мечтают, о лейтенантах. Им прискорбно кур пасти. А по сути дела, неужели такая особенная трудность – присмотреть за курами? Они уже поняли, в чем дело: чуть паровоз свистнет – сами опрومتью в клетку бегут. Я не через трудности, а исключительно через срам...

– Пойдите, – сказал доктор.

Уже с минуту он не слушал Кострицына, прислушиваясь к какой-то суете в вагоне. Сквозь стук колес доносились восклицания, беготня и хлопанье дверей. Кострицын услужливо встал:

– Разрешите пойти узнать?...

– Узнайте.

Кострицын вышел и вернулся, улыбаясь до ушей:

– Товарищ начальник, почта прибыла...

Доктор заморгал и поднялся... В прорези двери встал Данилов, тоже веселый, улыбающийся.

– Вам письмо из Ленинграда, доктор.

– Давайте, давайте, – пробормотал доктор, беря конверт дрожащей рукой.

Письмо, которое Данилов получил из ЦК партии, было коротенькое, вежливое и сухое. Смысл его, несмотря на вежливость, был таков: сидите, товарищ, там, куда вас посадили, и

работайте хорошенько, потому что за работу с вас взыщется...

Так. Понятно.

Слегка покраснев, Данилов аккуратно сложил письмо и спрятал в нагрудный карман, где хранился партбилет.

Письмо жены. Он просмотрел его бегло. Живы, здоровы. Поклоны от родственников и знакомых... Лена расскажет вразумительнее. Ах, молодец девка, ловко села, ведь и пяти минут не стоял поезд...

Ему хотелось знать, какое настроение в поезде, кто какие получил вести. Он вышел в коридор. У окна стояли Юлия Дмитриевна, Фаина и Супругов. Фаина держала Супругова за плечо и что-то тараторила. У Супругова был томный вид.

– Меня постигло несчастье, – сказал он с достоинством, когда Данилов подошел. – Скончалась моя матушка.

Данилов не знал, что надо говорить в таких случаях, когда человек, который тебе противен, рассказывает о своем несчастье. Что-то надо было сказать из приличия. Помолчав, Данилов спросил:

– Сколько лет ей было?

– Семьдесят восемь, – отвечал Супругов.

– Да, – сказал Данилов сочувственно, – преклонный возраст.

И отошел: что ж тут еще говорить, померла своей смертью ничем не замечательная старушка, пожившая вволю...

Он зашел к начальнику – узнать, что пишут ему из дому...

Доктор Белов сидел на диване, том самом, где когда-то он сидел с женой. Данилов был поражен: он оставил доктора десять минут назад розовым и бодрым, хотя и взволнованным; сейчас перед ним сидел немощный старичок с серым, изможденным и потухшим лицом.

На столе лежало письмо. Данилов прочитал его.

Доктор тупо смотрел на Данилова. Данилов сел рядом и молчал. Доктор вдруг громко задышал, глаза его налились слезами, руки беспомощно задвигались по коленям и по обивке дивана.

– Вы не можете себе представить! – сказал он шепотом. – Вы не можете себе представить...

Он хотел сказать, что Данилов не может себе представить, каким ангелом была Сонечка и каким ангелом была Ляля и что они значили для него, доктора. Но у него не хватило сил говорить. Его плечи затряслись, он заплакал, закрыв лицо руками, с всхлипываниями и стонами, слезы бежали у него по пальцам и скатывались в рукава, он подбирал свои слезы дрожащими губами, глотал их и давился ими.

И опять Данилов ничего не сказал, сидел прямо, бледный, с сверкающими глазами. Потом, видя, что доктор так не успокоится, вышел в коридор и кликнул сестру Фаину. Фаина принесла бром и люминал. Вдвоем они заставили доктора выпить и сидели около него, пока его не свалил сон. Тогда они ушли. Фаина, выйдя от доктора, заплакала.

– Я бы, – сказала она, – все отдала, чтобы его утешить.

– А я бы, – сказал Данилов, – хотел убить сейчас своими руками хоть одного из тех мерзавцев, которые делают это с нами.

Ночью в Р поезд принимал раненых. Доктора Белова не стали будить. Данилов объявил, что начальник поезда болен, и сам вместе с Супруговым подписал акт о приемке.

Но утром он вошел к начальнику и доложил, что в шестом вагоне номер двадцатый – незначительное ранение ступни и контузия – капризничает непереносимо, каждые пять минут требует врача, настаивает, чтобы ему сделали общую ванну, не дает покоя соседям, и неизвестно, как его успокоить: хорошо бы начальнику самому зайти к нему...

Из слов Данилова доктор понял только одно – что куда-то нужно идти. Он надел халат и потащился в обход.

Он переходил из купе в купе неуверенными шагами и каждому раненому напряженно всматривался в лицо, словно старался увидеть нечто, что ему непременно нужно было увидеть.

Сестра Фаина и сестра Смирнова шли за ним. Смирнова подавала ему листки истории болезни. Доктор брал листок и читал эпикриз с тем же выражением напряженной серьезности. Иногда эпикриза ему казалось недостаточно, тогда он прочитывал всю историю болезни.

Он боялся, что прочитает не то, что написано, и сделает не то, что нужно. Он боялся навсегда разучиться лечить, думать, читать. Мир отступил от него, потерял свои звуки, запахи, свою осязаемость. Это было совершенно естественно: мыслимо ли думать, что мир останется прежним, если в нем больше нет Сонечки и Ляли?

Но по мере того как доктор проходил один вагон за другим, он все больше понимал, что происходит около него. Слова, написанные в эпикризах и сказанные окружающими, быстрее доходили до его сознания и вызвали те соображения, которые им надлежало вызвать. Внимание привычно сосредоточивалось на привычных предметах, и эти предметы вновь приобретали свои прежние свойства. Голоса не доносились уже бог весть из какого далека и не были одинаковыми, они раздавались рядом. Каждый голос имел свое собственное звучание. Гипсы и бинты источали своеобразный неприятный запах. Стетоскоп доносил до слуха знакомые шумы. Этого больного надо в изолятор, у него признаки начинающейся пневмонии правого легкого.

Мир желал жить по-прежнему, несмотря на то что Сонечки и Ляли не было в нем. Это было непонятно и ужасно, но доктор ничего не мог поделать с этим. Сам он жил. Он хотел видеть капризного больного, о котором докладывал Данилов.

Номер двадцатый оказался крепким мужчиной тридцати лет с курчавыми волосами и румяными щеками. Он скинул рубашку и валялся поверх сбитых простынь, голый до пояса. Торс у него был розовый, плечи круглые, женственные. «Лутохин Иван Миронович», – прочитал доктор в листке.

– На что жалуетесь? – спросил доктор.

Лутохин жаловался на жару.

– Мне всегда жарко, – сказал он. – В госпитале мне делали общие ванны, только ими и освежался.

И он стал стонать, громко и театрально, закидывая голову и закатывая глаза.

– Ну, ну, ну! – сказала Фаина. – Не так уж больно.

– Мне нечем дышать, – сказал Лутохин.

Доктор просмотрел историю болезни. Лутохин был ранен и контужен незначительно. Припадков за последние две недели не было. Заживление раны шло нормально. В госпитале ему делали общие ванны, так как отмечено, что это улучшает его настроение.

– У нас нет ванны, – сказал доктор. – Душ – пожалуйста. Можно местную ванну.

– На черта мне душ! – закричал Лутохин и выругался. – Я хочу сесть в ванну и сидеть, черт бы вас всех побрал!

И он принялся стонать еще громче.

– Замолчи, симулянт, – сказали с верхней полки. – Товарищ доктор, что вы с ним возитесь, он же симулирует все.

Доктор велел измерить температуру. Оказалось 37, 1.

– Видите! – сказал Лутохин зловеще.

Осмотр показал несколько повышенное кровяное давление, ослабленную реакцию на свет и нечистое дыхание, характерное для курильщика со стажем.

– Appetit хороший, – сказала Фаина. – Стул нормальный.

– Уверяю вас – ничего страшного, – сказал доктор Лутохину. – Вы должны запастись терпением на несколько дней пути. В госпитале вы снова получите ванну и легче будете переносить жару.

Лутохин подскочил и выругался с яростью.

– Тише, тише, – сказал доктор. – Тут женщины.

Он тронулся дальше.

– Куда же вы! – заорал Лутохин. – Велите мне сделать душ!

– Душ, – сказал доктор, и Фаина и Смирнова записали: «Душ двадцатому».

– Замучил, – сказала Фаина.

Душ был готов скоро, минут через двадцать. Но когда Смирнова пришла за Лутохиным, оказалось, что он спит.

– Задрых, – сказал сосед. – Как только вы ушли, замолчал и задрых. Вы с ним поменьше танцуйте, здоровее будет.

Лутохин спал, уткнувшись лицом в подушку. Виднелись край румяной щеки и мочка уха, похожая на вишню.

– Пускай спит, – сказала Смирнова и ушла.

Было около одиннадцати часов утра. А перед обедом к доктору Белову прибежала ошеломленная Фаина и сообщила, что Лутохин скончался.

Он умер от кровоизлияния в мозг.

До сих пор в поезде не было смертных случаев, если не считать той псковитянки, раненной в живот, которая умерла на операционном столе. Но ее положили на стол уже умирающей.

Смерть Лутохина произвела тяжелое впечатление. Все испытывали чувство вины, хотя виноват не был никто. Случай принадлежал к числу тех, которые наука еще не может предугадать и предотвратить. Контузия иногда дает такие неожиданные эффекты. Смерть хитрит, маскируется, прячется в теле больного и вдруг хватает больного за глотку и, торжествуя, кажет зубы.

«По всей вероятности, – мучительно думал доктор Белов, – его не следовало брать из госпиталя. Возможно, что тряска поезда привела к тому мозговому потрясению, которое вызвало мгновенную гибель. Но кто это мог предвидеть? Уже две недели не было припадков, и он производил впечатление здорового человека. А может быть, я виноват, – думал доктор, стараясь во всех подробностях припомнить, как он осматривал Лутохина. – Я позволил себе обмануться внешними благоприятными показаниями и упустил какое-то очень важное неблагоприятное показание и не принял мер... Да, я не обратил должного внимания на то, что у него зрачки плохо реагировали на свет. Я это отметил, очень хорошо помню, что отметил, но не принял мер». Доктор понимал, что он не мог принять радикальных мер, что случай редкий, сложный, коварный, предотвратить его смог бы разве какой-нибудь гениальный медик – по вдохновению, по наитию свыше... И все-таки доктора мучила совесть.

«У него, вероятно, есть жена и дети, – думал он. – Жена... дети... И вот они остались сиротами оттого, что старый, никуда не годный врач не обратил внимания на реакцию зрачков. Если у меня горе, – думал доктор, – то почему другие должны от этого страдать? Почему жена и дети Лутохина пострадали от моего горя? Это чудовищно. Если бы за это полагалось наказание, я должен был бы сам прийти и сказать: судите меня, я проморгал человеческую жизнь из-за того, что у меня горе; из-за меня умер солдат Лутохин Иван Миронович... Они говорят, что я тут ни при чем, что просто несчастный случай. Если бы увериться, что я в самом деле ни при чем, как бы это было хорошо, какое облегчение!» – думал он.

А на столе под стеклом лежало письмо его старого знакомого и партнера по преферансу, извещавшее о том, что Сонечка и Ляля погибли при бомбежке Ленинграда в один из первых налетов, в сентябре 1941 года.

Глава восьмая Воспоминания

Осенью 1942 года немецкая армия достигла Сталинграда. Начались те бои, к которым в продолжение пяти месяцев было приковано внимание мира.

Сначала был страх, что немцы прорвутся к Волге. Потом стала рождаться надежда, что этого не случится. Потом явилась уверенность, что Сталинград – это тот порог, через который никогда не удастся переступить немцам и от которого Красная Армия начнет гнать врага на запад, освобождая от захватчиков советскую территорию.

В порожние рейсы Данилов теперь собирал людей два раза в день – утром и вечером: обсуждали сводку. Говорили по преимуществу о Сталинграде, все остальное отступило на второй план. В тех вагонах, где было место, Данилов поставил экраны с газетными вырезками. Сталинград владел умами и сердцами, он стал словом, означающим надежду, приближение светлой цели, зарю нового дня.

Мужчины, годные к строевой службе, покинули поезд: их отзывали в действующую армию. Данилова не отзывали. Он помнил письмо, полученное из ЦК, и молчал.

Девушки стали записываться добровольцами в Красную Армию. Многие из них в поезде изучили винтовку и пулемет.

Данилов не удивился, когда в добровольцы записалась Лена Огородникова. Но когда увидел в пачке заявлений подпись толстой Ии, свистнул от удивления: ведь сидела же год назад в воронке, полумертвая от страха...

Он полюбил слушать, о чем говорят в поезде. Слушать ему стало нужнее, чем самому говорить.

Люди привыкли к тому, что комиссар подойдет, присядет рядом, молча, неумело скрутит козью ножку (он стал курить с недавнего времени), послушает минуты две, встанет и уйдет.

– Надоело ему все, – говорил Сухоедов. – И мы надоели, и разговоры наши надоели. Ты посмотри – он же молодой человек совсем, ему простор требуется для его дел.

– А кому не надоело? – спрашивали его.

Они ошибались. Они стали ему интереснее, чем раньше.

Говорила Юлия Дмитриевна Супругову, распуская какое-то вязанье и мотая шерсть в огромные клубки:

– Во всяком случае, мы их задержали. Вспомните Псков. Там наше сопротивление носило совсем другой характер. Вы помните? На наших глазах наши части отступали... Да, вы первый указали мне на это... А сейчас чувствуется, что мы выиграем это сражение. Видимо, здесь предел их маршу. Я представляю себе, что там делается на улицах и в домах...

В ее голосе слышалась досада, что ее там нет – на сталинградских улицах и в сталинградских домах...

Интереснее всех говорил Кравцов.

– А Давид, – рассказывал он Наде, – был сначала пастух. И отроком, подростком, убил великана Голиафа камнем из пращи.

– Из какой прыщи? – спрашивала Надя.

– Ну... рогатка, вот как мальчишки кидаются. За это евреи сделали его своим царем.

– Ца-рем? Разве у евреев были цари?

– Ух, какая дура, – вздыхал Кравцов. – Дальше таблицы умножения не знаешь ничего...

Молчали. Опять раздавался повествующий голос Кравцова:

– У них были знаменитые цари. Они были и цари, и пророки, и писатели, и судьи. Тыщи лет назад царь Давид такие написал слова, что по сей день жгут сердце. Он написал: «Оружием будет тебе истина». Ты это можешь понять? Не гаубица будет оружием, а истина. А сам убил Голиафа из пращи. И тем самым как бы признал и гаубицу, но в то же время указал: «Оружием тебе будет истина». Иными словами, без истины и гаубицей ни черта не возьмешь. И еще он сказал: «Селение твое мир». Не в войне найдем счастье, а в мире. А война – только путь к миру... Да что тебе говорить!

– У нас в училище, – говорила Надя, – один парень другому чуть глаз не выбил из рогатки...

Однажды в начале зимы санитарный поезд застрял на сутки под Москвой, в лабиринте окружной дороги. Рейс был порожний.

Данилов разрешил команде сходить в кино и сам пошел.

Кино помещалось в маленьком транспортном клубе, увешанном красными полотнищами с лозунгами, наполовину смытыми осенним дождем. В зале были по преимуществу мальчуганы. Они вели себя требовательно и бурно. Каждые десять минут поднимался страшный свист,

топот и крики:

– Рамку, рамку-у!

Показывали военную хронику, потом художественный фильм из военной жизни. Герой – молодой парнишка, хорошенький, как на плакате, и такую же была его девушка. Они совершали подвиги, а потом девушка попала к фашистам в лапы и умерла, замученная палачами. Все понимали, что фашисты на экране не настоящие, но все это было такое сегодняшнее и близкое – и подвиги, и ненависть к фашистам, и хорошая девушка, отдающая жизнь за Родину, – что все смотрели картину с волнением. Вопли мальчишек: «Сапожник! Рамку!» достигли к концу сеанса наивысшего напряжения...

Когда вышли из кино, шел снег. Крупными медленными хлопьями падал он на пути. Заплаканные санитарки шли группами, горячо переговариваясь. Прошли мимо Данилова Юлия Дмитриевна и Фаина; Соболь догнал их, тонко закричал:

– Ах, витязь, то была Фаина! – и подцепил старшую сестру под руку.

Данилов всех пропустил вперед, пошел не торопясь, засунув руки в карманы шинели, подставив снежинкам лицо.

Какой ни смотришь фильм, какую ни читаешь книгу – везде любовь и любовь. Так ли это в жизни, обязательна ли любовь для каждого человека? Ведь вот – прожил же он без любви, а кто скажет, что плохо прожил? Каждый день был заполнен – безо всякой этой самой любви...

Когда-то он любил, любовь не удалась, он пересилил себя и обошелся без нее.

Таким вот пареньком он был, как этот на экране. Только не таким красивым и не таким сознательным.

А хорошая штука молодость. Оглянуться на нее радостно. Немного неловко, немного жалко... и все-таки радостно. Что ж! Он, зрелый человек, не отвечает за того паренька, каким он был четверть века назад.

У него уже три зуба вставных, и виски поседели. Лет шесть или семь уже, как не вынимал ее карточку из конверта...

Нескладно вел себя паренек. Не было ему удачи. Но спасибо ему за эти неловкие, горькие и радостные воспоминания.

Когда Данилову было пятнадцать лет, в деревне, где он родился и жил, основалась комсомольская ячейка.

Из города приехал на почтовой телеге худенький парнишка в огромных ботинках – «танках». Он собрал ребят и девушек в школе, ужасно долго и горячо говорил и потом стал записывать желающих в комсомол.

Данилов записался не столько по сознательности, сколько из желания поступить наперекор матерям. Матери собрались за дверью в сенях и оттуда выкликали своих детей: «Мишка! Танька! Сказано – домой», – кто шепотом, кто громко. Данилов гордился тем, что его матери за дверью нет. Придя домой, он сказал:

– А я комсомолец.

Мать сказала:

– На сход шел – хотя б рубаху новую надел; поди, осудил тебя городской человек.

И больше никогда не вмешивалась в его дела, так же как отец (кроме одного случая). Они верили, что своей честной жизнью они подали сыну хороший пример и сын никогда не опорочит ни себя, ни их, какой бы дорогой ни пошел.

В доме у них было принято хорошее обращение с людьми, разговор немногословный и негромкий и постоянный труд. Данилов не запомнил, чтобы отец и мать когда-нибудь пьянствовали, ссорились, бездельничали. У отца была маленькая кузня. Он был набожен, но если даже в первый день пасхи к нему приводили лошадь подковать, он надевал свой черный фартук и шел в кузню.

– Бог на работу не обижается, – говорил он.

Он умел плотничать, слесарничать, шорничать, плести рыболовные сети и был из лучших косарей в волости. В прежнее время нанимался косить к господам; и в старости он надевал в

сенокос белую рубаху, брил щеки, точил косу и шел в совхоз наниматься на косьбу: он был артистом в этом деле и любил, чтобы им любовались.

Данилов больше половины жизни прожил вдали от родителей и со стариком виделся очень редко. Но в нем навсегда осталась страсть к работе и желание делать эту работу так, чтобы почтенные люди сказали: «Ай, молодец!» Драгоценное отцовское наследство...

Мать учила его варить обед, латать чулки и стирать белье.

– В солдатчине пригодится! – говорила она.

Когда он был совсем маленький, она иногда ласкала его, потом перестала. Он не помнил ее поцелуев, не справлял поминок, когда она умерла, но навеки сохранил благоговейное уважение к ее памяти.

Пришла революция. Пришли новые слова и понятия. Он стал комсомольцем. Но жизнь его мало изменилась: деревня была за девяносто верст от железной дороги.

По почте на ячейку приходили книжки. Ребята читали их, но не очень понимали. Объяснить было некому. Иногда приезжал тот худенький товарищ из губкома, теперь у него уже росли усы. Он делал доклад, кое-что после этого становилось яснее, но не все. По воскресеньям комсомольцы – их было четверо – надевали чистые рубахи и шли к обедне. Они шли не молиться, а посмотреть людей. Больше людей посмотреть было негде. Один раз Данилов был шафером на свадьбе и держал венец над головой жениха. Жених тоже был комсомолец, но венчался в церкви, потому что иначе невеста ни за что не соглашалась.

Все это переменялось, когда старая *наставница* (учительница) ушла на пенсию и на ее место пришла новая.

Новую звали Фаиной. Она была совсем молодая – едва за двадцать лет. Красивая, с толстой тугой косой, положенной высоким венком вокруг головы.

– Черт те что у вас творится, – сказала она комсомольцам. – Я бы у вас комсомольские билеты давно отобрала.

Она потребовала, чтобы сельсовет поставил новую избу около школы. Сельсовет не послушался. Она съездила в волость, и волость прислала предписание – поставить избу и в ней основать клуб. Из волости Фаина привезла два ящика книг и стала по вечерам читать вслух в школе.

Сначала на чтения приходили только ученики, потом стали приходиться взрослые и даже совсем старые. Им нравилось, как читает наставница. Они такого чтения никогда не слышали. Она начинала читать негромко, пригнувшись у керосиновой лампы, уютно ссутулившись под накинутым на плечи серым платком. Читала размеренно и как бы даже равнодушно. Но вскоре чтение зажигало ее. Лицо ее разгоралось, блестели под полуопущенными ресницами молодые глаза. Взволнованная, читала она то громко, то почти шепотом, скидывала платок, становилась коленями на стул, обеими руками подпирала румяные щеки. Случалось – когда слушатели вздыхали, опечаленные печалью чужой судьбы, – у нее у самой светлая слеза спускалась с ресниц на щеку и, сверкнув, падала на раскрытую книгу.

В первый раз Данилов увидел, каким богатым, красивым, притягательным может быть человек. От этого красивого человека он не мог оторвать глаз. Он тоже хотел быть таким. Он понимал, что для этого нужно многое. Вон она как читает: ни на одном слове не споткнется. Разными голосами представляет разных людей. Смешное в ее чтении особенно смешно, печальное так печально – до слез... Ну так что же? Она старше его, она сильно грамотная, она успела научиться тому, чему он по своим годам еще не успел научиться. Кто она? Такая же простая, как он. Валенки на ней в заплатках, платок такой же, как у его матери. Научилась и вон какая стала, думал он. Он тоже научится и будет таким, как она.

«А сама-то величава, выступает будто пава, – читала она мурлыкающим, певучим голосом. – ... А как речь-то говорит, будто реченька журчит... Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». «Ты сама павя, царевна Лебедь, – думал он с восторгом. – Ты реченька, ты звезда моя...»

Фаина раздала комсомольцам книжки и сказала, что они должны быть *книгоношами*. Данилов ходил по избам и уговаривал людей читать книги. Потом Фаина объявила, что у них

будет драматический кружок, и стала репетировать с комсомольцами какую-то пьесу. Пьеса была революционная, из старой жизни, с графами и князьями. Парней в кружке было мало, а девушек много. Девушки не хотели играть мужские роли. Чтобы подать пример, Фаина взяла себе роль старого князя, тирана и душегуба, владельца крепостных душ. Из пакли ей сделали великолепную седую бороду – богу Саваофу впору. В последнюю минуту Фаине обидно стало портить свое лицо этой бородой: она нарисовала себе бородку и усы жженой пробкой. Таким образом, старый князь выглядел гораздо моложе своей собственной дочери, слезливой вдовы, которая хотела уйти в монастырь, и был женственнее и милее всех молоденьких графинь и княжон. Он больше всех понравился публике, ему хлопали и топали, несмотря на все его душегубство...

Успех спектакля был велик. Кружок разросся. Родители, увидев, что около молодой наставницы-комсомолки молодежь ведет себя пристойно, не балует, читает книжки, стали сами посылать к ней детей. Молодежь собиралась у нее по вечерам, покончив с дневными трудами. Только Данилов каждый день с утра думал: под каким бы предлогом забежать в школу. Раза два он являлся даже во время занятий; Фаина строго и резко запретила ему это. А он часа не мог прожить, чтобы ее не видеть. Работать ему стало лень: работа никуда не убежит, а сейчас пойти бы к ней, посмотреть, что она делает, послушать, что она говорит...

Когда она уезжала в волость, он изнывал от тоскливой скуки, считал часы до встречи. Когда видел ее – все кругом озарялось теплом и светом, приобретало новый смысл, прелесть, силу. По-иному звучали песни, значительнее становилось каждое слово. «Ванька влюбился в наставницу», подшучивали ребята. Он не верил им.

Много они понимают. Просто он ее уважает и хочет быть таким, как она. Влюбился!.. Она невозможная, недостижимая... Если бы кто-нибудь ему сказал, что она – обыкновенная учительница-комсомолка, каких в стране много, он бы бросился на того человека с кулаками.

Ему пошел восемнадцатый год. Это был рослый, плечистый паренек с сильными руками, на голову выше Фаины. Кожа на его лице была белая, нежная; над губой пробивался светлый пух.

С некоторых пор его стала томить эта сила, которую он ощущал в себе. Как груз, он нес свое тело. Нечаянно задумчивость охватывала его, ее сменяли приступы жеребьячьего веселья. Внезапно мать заговорила с ним о женитьбе.

Она сказала, что силы у нее на исходе, жить ей, она чувствует, недолго (ее одолевала женская болезнь, из-за которой у нее после Ивана больше не было детей). Хотелось бы ей привести в дом хорошую невестку: пусть ходит за нею, и покоит ее последние дни, и закроет ей глаза. Такую невестку, на которую она могла бы с легким сердцем оставить дом.

Сейчас, конечно, еще рано Ивану жениться. Года два можно подождать. Но девушку подходящую можно бы и сейчас взять на примету... Неожиданно дерзко он перебил ее, спросил со злой улыбкой:

– Это вы на кого же намекаете?

Он знал на кого: на Дуську Касаткину, Мельникову дочь. Его задрознили этой Дуськой, – мол, помирает от любви к нему. На что она ему сдалась? Чего ради он с нею свяжется, через два ли года, через десять ли?

Мать оскорбилась – и тем, что дерзко перебил, и словом «намекаете», которое показалось ей обидным. Она сказала:

– У меня, Ваня, нету, слава богу, такой повадки – намекать. А ты знай, что она из-за тебя двум отказала. Девушка смиренная и работница.

Он взял шапку и пошел вон из избы. У матери вырвалось:

– Куда? К наставнице?

И – горько, когда дверь захлопнулась за ним:

– Беда моя!

А его ноги понесли к школе. Зимние сумерки стояли над деревней. Школьные окна почему-то были темны, а обыкновенно уже зажигали лампу в большой классной... Уехала, что

ли? Сердце у него оборвалось...

Ребята-комсомольцы шли навстречу. Они сказали, что сегодня не будет ни репетиции, ни чтения: наставница лежит в постели, заболела. Он выслушал их и пошел своей дорогой. К ней. Они покричали что-то ему вслед, он не слушал. У него вздрагивали губы.

Он взошел на крыльцо, затоптанное снегом, прошел по темному коридору мимо полутемных пустых классов и, не стучась, рванул знакомую дверь.

Фаина одетая лежала на кровати лицом к стене и испуганно вскинулась:

– Кто там?

– Я, – ответил он.

– Ваня Данилов? Ты что? Репетиции не будет.

– Я знаю. Я так.

Для чего он шел сюда? Не для того ли, чтобы сказать: «Я не хочу жениться. Мне никого не надо, только тебя. Я хочу быть с тобой. Позволь мне всегда быть с тобой!» И вот он пришел и стоит, как пень, у дверей. И, кажется, вели она ему уйти – залился бы горькими слезами...

Может быть, она поняла это. Она сказала:

– Испугалась, как ты вошел. Вздремнула. Сон какой-то видела... – Она сладко потянулась, даже застонала от удовольствия. – Зажги лампу. На столе. А спички на полке. Да сними шапку. Не научишь вас... Деревня.

Он снял шапку и зажег лампу, чувствуя себя косолапым, ничтожным и совершенно неинтересным для нее и все-таки даже не помышляя о том, чтобы уйти.

Фаина села на кровати и стала закалывать на затылке распутившуюся косу. Она накручивала косу на руку, как змею, а гребешки держала в зубах. Руки были обнажены до локтя – круглые, крепкие, уверенные. Ноги были обуты в смешные чулки – в красную и синюю полоску. Из дырки на чулке выглядывал маленький розовый палец.

– Ты что меня рассматриваешь? – спросила она ослабевшим со сна голосом. – Ты для того пришел, чтобы рассматривать меня? Садись, ты мне застишь свет.

Он сел. Она вставила ноги в разношенные валенки и тоже под села к столу, кутаясь в платок.

– А я ничем не больна, – сказала она задумчиво. – Я, Ваня, сегодня письмо получила, что моя бабушка умерла. И вот, понимаешь, я эту бабушку всего три раза видела и ни капельки не любила, а все-таки расстроилась – и сама не знаю почему. Теперь никакой родни у меня не осталось, только дальние – двоюродные, троюродные... Я их и знать не хочу! Они – лавочники. Знаешь, Ваня, что человек может и не заниматься торговлей, а все равно быть лавочником. Вот они такие. Они нас, коммунистов, терпеть не могут. И бабушка терпеть не могла. Так чего же я по ней плачу, глупая? – Она засмеялась и вытерла слезы концом платка. – У меня только папа был хороший, он был учитель, его белые убили. Я уже три года одна. – Слезы побежали по ее лицу градом, она встала. – Распустилась я нынче. Сейчас чай будем пить. Я тебе книгу дам – картинки посмотреть. Интереснее, чем на меня смотреть.

Она положила перед ним толстую книгу и ушла. Он сидел и не смел встать, а только с наслаждением рассматривал ее комнату.

Он и раньше заходил сюда, но всегда с ребятами и ненадолго, и всегда получалось так, что он стоял позади всех и ничего не мог рассмотреть. Теперь он был здесь один, и все было раскрыто для его обозрения.

Это была маленькая комната с бревенчатыми стенами, с узкой кроватью, покрытой жиденьким байковым одеялом, с полкой книг над столом и висячим рукомойником в углу. Все эти вещи были бедны и безличны, но для Данилова они жили бесконечно милой и значительной жизнью: в этих стенах *она* дышала, вот тут она спит, тут умывается, у этого стола исправляет ученические тетрадки; эти книги ею листаны, читаны. Особенный интерес и умиление вызывали те немногие вещи, которые явно принадлежали *только* ей и вводили Данилова в ее задушевный мир: вот эта на стене, в полированной, с бронзовыми уголками рамочке, фотография худощавого пожилого мужчины в косоворотке и пиджаке – это, должно быть, ее отец, хотя и непохож. А вот наперсток, ее наперсток. А интересно, что она держит вон в той

коробочке с золотыми розами? Нитки, шпильки, ленточки? Вон ее серый платок на спинке стула; вон на вешалке розовая кофточка, которую она надевает по праздникам... Милые вещи, уютные и значительные, как она сама.

Он услышал ее шаги и проворно раскрыл книгу. Это был журнал «Нива» за 1913 год. Была нарисована большая ледяная гора, плывущая по морю, и маленький пароход. «Гибель „Титаника“, – прочитал Данилов. Фаина вошла с чайником.

– Вот ты уже сколько посмотрел. А ты знаешь, как погиб «Титаник»?

Она рассказала ему о «Титанике», напоила его чаем и опять немного всплакнула о бабушке... Он сидел замороженный, смотрел во все глаза, слушал во все уши и только тогда ушел, когда она прямо сказала, что пора уходить.

Была глубокая ночь. Он вышел на улицу – ни одного огонька в окнах, тишина, только где-то капает капель. Он оглянулся: ее окошко светилось.

Что она делает, когда одна? Он подошел к окошку, осторожно заглянул. Она сидела у стола, подперев руками щеки, задумавшись. О чем она думает?... Она встала, протянула руку к окну, – белая занавеска задернулась, и свет померк, – Фаина спустила фитиль в лампе...

Данилов пошел домой. Ему хотелось долго, долго идти по пустым улицам, думая о ней.

Он стал приходить к ней каждый вечер.

Она не тяготилась им. Она совала ему какую-нибудь книгу, а сама занималась своими делами: исправляла ученические тетрадки, читала, штопала чулки, иногда уходила куда-то; а он сидел как страж.

Если бы его спросили, зачем он здесь сидит, он ответил бы:

– Потому что мне нравится.

Если бы спросили: хочешь ее поцеловать? – он бы ужаснулся. Он и за руку-то с нею ни разу не поздоровался.

Однажды он не застал ее дома. Старуха сторожиха сказала, что наставница в бане, скоро придет. Он вошел в ее комнату, зажег лампу, развернул «Ниву» и стал ждать.

Она пришла веселая, румяная, от нее пахло жаром и чистотой, когда она подошла. Голова ее была обмотана полотенцем, как чалмой.

– А, ты уже здесь? – сказала она. Подняв руки, размотала полотенце, тряхнула закинутой головой, – тяжелые мокрые волосы упали на спину и плечи.

– Расчеши их, Ваня – сказала она и протянула ему гребешок.

Он послушно стал расчесывать тяжелые, склеившиеся от влажности, прохладные пряди. Он брал их в руки – рукам сообщалась эта влажность и тяжесть; пальцы путались в шелковых, нежных волосах. И непонятно было ему – отчего дрожат его пальцы.

Он стоял за ее спиной, перед ним было зеркало. В зеркале он видел ее лицо, полное радости и лукавства... Он уронил гребешок, обнял Фаину за плечи, отклонил ее голову и крепко поцеловал в губы. И она ответила на его поцелуй – ответила! Но сейчас же вырвалась, сердито смеясь:

– Ну-ну, мальчик!

Он не помнил, как очутился на улице. Шапку он забыл, шел без шапки, растерянный, потерянный. Мальчик! Конечно, мальчик, мальчишка, дурак, нахальный дурак, как он смел!.. Да, а зачем она смеялась над ним? Зачем велела расчесывать волосы? Нарочно велела. Зачем ответила на его поцелуй? Он же чувствовал, он и сейчас чувствует, как нежно, как нежно шевельнулись ее мягкие губы под его губами... Нарочно ответила на поцелуй, чтобы потом посмеяться! Нет, нет. У нее блестели глаза, она поцеловала его, поцеловала его!

– Ты что, пьяный? – сухо и скорбно спросила мать.

Он не ответил, влез поскорей на полати, где была его постель. Сидел не раздеваясь, обняв колени и положив на них горячую голову. Так и заснул, уже перед рассветом. Но и во сне перед ним блестели ее глаза и нежно шевелились у его губ ее мягкие губы.

Утром мальчик-ученик принес ему его шапку.

Он задрожал так, словно это была не шапка, а письмо от Фаины.

Бежать к ней!.. Стыд удержал... Как он войдет? Что скажет? Она будет смеяться, а ему

что – молчать? Смотреть картинки? Не хочет он больше молчать и смотреть картинки, он хочет ее целовать, он хочет всегда быть с нею, около нее, в ее комнате!

Вечером он увидит ее в клубе и скажет ей это... если хватит духу.

В этот вечер открывали клуб. Данилов опоздал, потому что все не мог придумать: какими же словами он скажет?... Он даже не пошел приколачивать занавес и развешивать плакаты; все комсомольцы пошли, а он не пошел, потому что боялся встретиться с нею.

Когда он вошел в зал, шло торжественное собрание. Фаина сидела в президиуме, около председателя сельсовета, а по другую руку от нее сидел незнакомый человек в городском костюме, – приехал от губисполкома на открытие клуба. Говорили речи, хлопали.

Данилов хлопал, но ничего не понимал. Он видел, как гордо и свободно держится Фаина, как она перешептывается с городским человеком, как она хороша, – и больше ничего не видел. Он ловил ее взгляд, но она ни разу не посмотрела на него. После собрания начались танцы. Скамейки отодвинули к стенам. Гармонист-попович развел руками, и пары закружились... Данилов совсем уж было решился подойти к Фаине, но тут увидел, что она кружится в паре с городским приезжим.

Данилов не умел танцевать вальс. Он стоял, прижавшись к стене, и следил, как носится по залу розовая кофточка... Тревожная тоска охватила его.

Неужели она отсекла его от себя – насовсем, навсегда? Неужели никак нельзя поправить это?... Она вышла из зала, городской приезжий вел ее под руку. Пойти за нею? Его гордость, его стыдливость говорили: не ходи. Несколько минут он колебался... А когда побежал ее искать – ее уже не было в клубе.

Ушла при всех людях с этим пиджачником – куда? От ярости у него в глазах почернело. Он стиснул кулаки... Где искать? Он выскочил на улицу звезды, мороз, ни души: вся деревня в клубе. Он бросился к школе.

Добежал и стал: ее окно освещено – она дома. На секунду его ярость утихла: таким миром и счастьем всегда ему светило это окно. Она устала и вернулась домой. «Радость моя устала и сейчас ляжет спать...» Он подошел к окну.

Фаина стояла у стены, прислонясь к ней спиной. Станным, необычным показалось ему ее запрокинутое лицо, губы раскрыты пугливо... Городской приезжий сидел на кровати, курил и говорил что-то. Он встал, подошел к окну, протянул руку – белая занавеска задернулась, и свет померк: в лампе спустили фитиль.

Свет померк.

Данилов заплакал. Горячие слезы побежали по его щекам. Он не чувствовал их. Толстая белая сосулька висела близко от него. Он схватил ее, обломал и, отбежав, изо всей силы запустил в окно... Раздался звон стекла и крик – Фаинин крик. Данилов бросился бежать.

Он бежал и плакал. Все кончено. Прощай, любовь, прощай, Фаина, прощай, мечта!

Горожанин был не дурак, он не жаловался. Про наставницу стало на другой день известно, что она, идя ночью из клуба, упала и расшиблась в кровь, у нее разбита скула – немножко, но шрам, должно быть, останется. Бабы ахали и боялись, что ее красота испорчена: ее любили.

Мать сказала Данилову:

– Уезжай ты куда-нибудь, Ваня, ради бога.

Он молчал: ему некуда было уезжать. Он подрядился рубить лес и больше месяца провел в лесу.

Работая, он старался усталостью задушить свою тоску. Так уставал, засыпал сразу, где бы ни лег. «Ну и зверь же ты на работу, Иван!» удивлялись лесорубы. Но вот за ним прислали из ячейки: губком комсомола давал ячейке одно место в губернской совпартшколе; ячейка определила ехать Данилову. Данилов знал, кто об этом постарался.

Перед отъездом он пошел к ней: он твердо положил, что всему конец, и решил, что на прощанье зайти можно. Вышло это так: поздно вечером он вошел к ней в комнату. Она сидела у стола над тетрадами. Наверно же она еще издали узнала его шаги по коридору, но не вскочила, взгляд ее был прям, и крепкая рука с пером вольно лежала на раскрытой тетради... Спокойно и

холодно она смотрела ему в лицо. Он подошел ближе, чтобы лучше разглядеть, и увидел небольшой, звездочкой, розовый шрам на скуле – его отметина на вечную память... Она ничего не спросила, и он не сказал ни слова. Постоял, повернулся и вышел.

На другой день он уехал.

У него была здравая смекалка крестьянского сына, выросшего в нравственной семье. Он был юн и влюблен, сердце его было раскрыто для страсти. Его волновали сны, солнечное тепло, женские голоса. Но его чистый разум отметал дешевые соблазны.

В кружке, куда попал Данилов, верховодили юноши, проповедовавшие легкое отношение к любви и браку. Без разбора, сгоряча эти юноши пытались разрушить старые моральные устои. Прежде всего они занесли свою ребяческую руку на старую святыню народа – семейный очаг. Понятия «невеста», «целомудрие», «супружеская верность» были предметами их насмешки. Скромную девушку они с презрением называли мещанкой. Кое-кто их слушал, потому что они были книжники, острословы, говоруны и потому что у многих молодых, не познавших жизни, зашумело тогда в голове от вольницы, от стихов и песен, от просторов, открывшихся каждому.

Данилов наблюдал, как вольно некоторые парни обращаются с девушками и девушки с парнями, как легко совершаются браки и разводы, – и это было чуждо ему. Он слушал, как говорили о «законах физиологии» и о «стакане воды», и не спорил, потому что у него еще не было слов для спора с этими «умниками», но про себя он думал: «Мне это не подходит».

«Я женюсь, конечно, – думал он иногда. – Но я, во-первых, подожду: надо подучиться, и подрасти, и человеком стать. А во-вторых, женюсь на такой девушке, которая будет со мной жить дружно и честно, как мама прожила с тятьей. А вдруг о н а еще передумает – позовет?...» От этой сумасшедшей мысли жарко становилось сердцу, одна мысль о Фаине окрыляла и поднимала его.

Но эта мысль становилась все безнадежнее и приходила все реже – и совсем перестала приходить.

Он заставил ее не приходить.

Сначала он был дураком – ах, каким дураком: тосковал, раскаивался, ждал... Просил мать писать ему – что наставница, руководит ли по-прежнему кружком, не вышла ли замуж. И мать писала. До самой своей смерти, осуждая и жалея сына, писала все, что знала о наставнице: жива, здорова, учит ребят, кружком руководит, замуж не вышла – за кого ж ей тут выходить? Потом написала: выбрали наставницу в губисполком, уезжает в город; люди жалеют – собирают деньги, чтоб сделать ей подарок... Он заметался, ходил даже два раза в губисполком справиться, где она; но посовестился.

Потом мать написала: наставница приезжала, делала доклад, после доклада к ним заходила, рассказывала, что вышла замуж; спрашивала, где Ваня, и велела кланяться.

Вот тогда он *приказал* себе не думать о ней. В то время это было хоть и трудно, но все-таки уже возможно: немножко отвык, немножко сжился с мыслью о том, что она ему не суждена; слабее стал в памяти запах ее волос, и все, что было, казалось давно приснившимся сном. А главное, он окончил совпартшколу, и ему предстояло идти служить в Красную Армию; он много думал о предстоящей новой жизни и готовился к ней, – очень важной и ответственной она представлялась ему...

Все-таки нет-нет – и всплывал перед ним ее образ в том же чудесном озарении, в той же яркости ясновидения, как прежде: выгнутая шея, смеющийся рот, мокрые волосы липнут к вискам и плечам – «расчеши их, Ваня...». Но время шло. Он мужал, он был работник. И это видение стало являться очень, очень редко... Ну и слава богу!

В Красной Армии он служил два года. Там он читал много политических книг и вступил в партию. Когда его демобилизовали и он вернулся в родную деревню, то его выбрали в волисполком и назначили заместителем председателя. В дальнейшем ему довелось побывать на всяких работах: партийной, советской, хозяйственной.

Фаины давно след простыл – уехала с мужем куда-то на восток. Рядом с Даниловым шла

по жизни другая женщина – его жена.

Он все-таки женился на мельниковой дочери, Дусе, Евдокии. Не то чтобы он выполнял материнскую волю, – это вышло само собой, вскоре после того, как Данилов демобилизовался и стал работать в волости. Еще в армии он почувствовал, что ему следует жениться. Он был у всех на виду. Ему хотелось жить так, чтобы его уважали и чтобы никакие *глупости* не отвлекали его от работы, которая была главным делом его жизни.

Как-то он поехал проведать отца и встретил Дусю. Она у колодца вертела ручку блока. Ее лицо все порозовело, когда она увидела Данилова. Он поздоровался и спросил, как она живет. Ей шел уже двадцать пятый год, как и Данилову. Красотой она не отличалась, но была свежа и здорова. А главное – в ее небольших голубых глазах, устремленных в лицо Данилова, была такая робкая радость, что он почувствовал себя тронутым. «Пожалуй, это будет настоящая жена», – подумал он.

Вечером он зашел к мельнику в дом, а через неделю опять приехал в деревню. Забрал Дусю с ее сундуком, в котором давно слежались по складкам приготовленные в приданое сорочки и платья, и отвез в волость, прямо в загс. Из загса она поехала к нему на квартиру и сразу стала хозяйничать готовить обед, мыть окна и перетряхивать во дворе свои платья, пропахшие нафталином. А он пошел в волисполком, где у него было срочное дело.

Так они и жили: он работал, заседал, ездил, а она хозяйничала. В его отношении к ней не было ничего похожего на то, что он чувствовал к Фаине. Ни разу не замерло сердце, ни разу не потянуло его к Дусе так могуче, так сладко, как тянуло к той. Ни разу не поспешил он домой, чтобы скорее увидеть Дусю. Когда к нему приходили приятели, он был хозяином за столом, угощал и занимал гостей, а Дуся подавала кушанья. Он любил, чтобы в доме было чисто, чтобы все блестело, чтобы к его приходу, когда бы он ни пришел, был горячий обед. Дуся старалась угодить ему и рассчитать его небольшой заработок так, чтобы хватило на все: на обильную еду, хорошую одежду, угощение для приятелей...

Иногда он испытывал некоторые угрызения совести при виде того, как много она работает. Сердясь на нее за то, что она причиняет ему эти угрызения, он говорил:

– Что ты надрываешься над бельем, как поденщица. Отдай в прачечную.

– Они там все белье перепортят, – отвечала она, а сама думала: «Да, в прачечную. Туда за этукую стирку рублей шестьдесят надо отдать, а потом не хватит до полочки, где я возьму?»

Первое время он иногда говорил:

– Учиться тебе надо. Ничего не знаешь. Обязательно надо учиться.

А сам думал: «Когда ей учиться-то. Вечно топчется по хозяйству». То же думала и она.

И в то же время его сердило, если кушанье пригорит или перепреет, или пыль завелась за шкафом, или на чистой рубахе, которую она ему подала, не хватает пуговицы. И вся ее жизнь ушла на то, чтобы надзирать – не завелась бы пыль, не оторвалась бы пуговица. И за собой надо было следить, он этого требовал. Он бы не потерпел, чтобы она вышла на улицу плохо одетой, небрежно причесанной.

Он перестал говорить о ее учебе, решив, что у нее уж такой характер, – она любит хозяйство и больше ничего.

Он считал, что она должна быть очень счастливой. Он считал, что если женщина получила того мужа, которого ей хотелось получить, то она не может не быть счастливой. Он заметил, что его редкая ласка радует ее, и это еще больше укрепляло его в уверенности, что она очень счастлива.

В большие праздники – годовщину Октябрьской революции и Первого мая в учреждениях устраивались вечера для сотрудников. Данилов брал с собой Дусю на эти вечера. Она наряжалась, завивалась у парикмахера, душилась одеколоном. Он приводил ее, сажал на удобное место и шел к другим людям, с которыми ему было интересно разговаривать. Ни разу он не задал себе вопроса: не скучно ли ей на этих вечерах. Все приводят жен, и он свою привел. И одета она не хуже других. И с нею все здороваются, как с женой руководителя учреждения. Значит, все в порядке.

А вот с сыном – совсем другое дело. Сын – это он сам, Данилов. Его плоть, его душа, его

мужская, горячая и несгораемая, действенная сила. Он и имя ему дал свое: Иван. Молодец жена, что родила сына.

Родить-то родила, а принадлежит сын ему, Данилову. Весь принадлежит, вплоть до смешных мохнатых рыжих ресничек, которые сын опалил у печки. Материнская забота какая? Вымыть да накормить. А он, отец, созидает жизнь, в которой сыну хорошо и просторно будет жить.

Чтобы сыновья прошли жизнь по светлой и гладкой дороге, они, отцы, согласны эту дорогу вымостить своими телами, вот как.

Ночью разыгралась метель. Мокрый снег бился в окно купе.

Поезд кружил вокруг Москвы. То он шел полным ходом, какие-то фонари пролетали мимо окна, какие-то синие светулы. Кричали гудки. То он останавливался во мраке, не разберешь где, и сам тревожно кричал в метель.

Всегда приходилось так кружить, пока не примут на каком-нибудь из московских вокзалов.

Кружить так кружить. Все кружат, и он тоже кружит. Он честно обойдет свой круг. Главное – чтобы честно. Правда, Сонечка?

Эти гудки рвут сердце.

Большая снежинка села на черное стекло. Когда он был маленьким, у него была книжка, в ней нарисованы снежинки разной формы на черном фоне. Вот такая красивая снежинка села сейчас на стекло.

Он помнит эту книжку, и эту картинку, и чернильную кляксу на поле страницы.

Сестра пририсовала к кляксе ручки и ножки. Мама сердилась: каким вздором занимаешься. Сестра была взрослая, курсистка, бестужевка.

Сестра умерла. Мама умерла еще раньше.

Все умерли.

Доктор Белов задернул плотную занавеску и зажег лампу. Остывший чай стоял на столе. Вечно еда на столе. Он просил не ставить, а они подсовывают.

Сегодня его оставили в покое. Ходили куда-то, и он целый вечер был один. Обыкновенно у него кто-нибудь торчит в купе. По всей вероятности, Иван Егорыч нарочно подсылает к нему людей с разными делами.

Милый человек Иван Егорыч, но неужели он думает, что, разговаривая о делах, доктор забывает о Сонечке и Ляле?

Александр Иваныч пишет, что дома нет, одни развалины. Погибли не только они – их вещи, их платья, столик, у которого работала Сонечка, Лялины школьные тетрадки, которые он берег. Письма, дневники, все погибло.

Только воспоминания остались.

Записывать их нельзя. Вот – была девочка, она училась в школе. Она училась очень хорошо. Ее тетрадки были исписаны ровным, ясным, красивым почерком. Учителя писали в тетрадках «отлично» – красными чернилами. Девочка выросла. Отец собрал ее тетрадки и спрятал, чтобы, когда она станет старушкой, она вспомнила по этим тетрадкам свои школьные годы. Немцы бросили в дом бомбу, дом рухнул, нет ни девочки, ни тетрадок.

Ничего нет.

Как это запишешь?

Столик был маленький, покрытый белой клеенкой. На нем стояли аптекарские весы, большая стеклянная банка с гипсом и белая фарфоровая чашка, в которой Сонечка замешивала гипс. Чуть не тридцать лет простоял столик с весами, банкой и чашкой. Работая, Сонечка надевала синий халатик. Он был старый, все пуговицы на нем были разные, даже была одна брючная пуговица. Как это запишешь? Ничего не получится, ерунда какая-то: при чем тут брючная пуговица?

Он с ума сходит. Разве в этом дело? Сонечка была друг, самый верный и самый любимый. Тридцать лет вместе. Никогда никаких размолвок... Как она вела себя, когда болели дети или

болел он! Она просиживала ночи около их постели...

Но память упорно цеплялась за мелочи, словно хотела все их собрать, чтобы ничего не растерять.

То он вспоминал, как они с Сонечкой ехали домой после венчанья. Ехали в простой пролетке, потому что на карету не было денег. На Сонечке было белое платье с высоким кружевным воротничком и на груди золотой медальон на тоненькой цепочке. Фату она сняла еще в церкви, после венчанья. «На улице глупо, – сказала она, – все смотрят».

На медальоне были ее девичьи инициалы: С. К. Он сказал: теперь надо С. Б. Она сказала: я не буду менять, это мамин медальон.

То вспоминалось, как они жили в девятнадцатом году. Его послали в деревню на эпидемию сыпняка. Он пробыл там четыре месяца и заразился, а когда поднялся, его отпустили домой на поправку. Он привез Сонечке муки и масла (все говорили, что нужно повезти, поэтому он купил) и гордился, что он такой хозяйственный. Дома жилось очень трудно: буржуйку топили «Миром божьим» и «Задушевным словом», электричества не было, раковина была засорена. Помои приходилось носить во двор с четвертого этажа. Сонечка не давала ему носить, носила сама. Однажды он возмутился: что он – ребенок или больной? Вон он как растолстел после тифа, он здоров как бык! И он взял ведро и понес. На лестнице было темно, и, должно быть, уже раньше кто-то тут проходил с помоями и расплескал, и ступеньки обмерзли, и он поскользнулся и упал и все разлил. Ведро покатилося по ступенькам, гулко грохоча. Он стал искать его и не мог найти впотьмах. Наверху щелкнула дверь, и показалась Сонечка со свечкой. Она не спеша спустилась, сказала: «Ну, конечно», нашла ведро и стала вытирать тряпкой лестницу. А ему велела держать свечку...

Родная, я никогда ничего не умел сделать для тебя...

Она не могла уделять много времени хозяйству, потому что работала. На этой почве были разные курьезы. Однажды она поставила тесто и забыла о нем, занявшись чьими-то зубами. Тесто поднялось, сдвинуло крышку с квашни, потекло на стол и на пол. Были Лялины именины, подруги были званы на пироги. «А, наплевать!» – сказала Сонечка и купила тесто в магазине, и пироги успели вовремя.

Никак он не мог одеть ее хорошо. Она забирала у него все деньги и тратила их на хозяйство, на детей, на него. А сама ходила в старых платьях. Он очень огорчался: он слышал, что женщины придают нарядам большое значение, и думал, что она должна страдать оттого, что у нее нет нарядов. И вот однажды он утаил из жалованья сколько-то денег и пошел покупать ей подарок. Он хотел купить шелковое платье, но оказалось, что утаенных денег на это не хватит. Тогда он стал искать что-нибудь подешевле. Он не бывал раньше в магазинах дамских товаров, у него зарябило в глазах от пуговиц, сумочек и платочков. Наконец он купил перчатки. Замечательные лайковые перчатки с вышитыми раструбами (продавец сказал, что это очень модно). Перчатки показались ему очень маленькими, он даже боялся, что не налезут. А Сонечка засмеялась, сунула руку в перчатку, и оказалось, что перчатки непомерно велики – у них просто пальцы как-то сложены, что кажутся маленькими. Доктору было ужасно обидно. Сонечка запретила ему покупать ей подарки. Перчатки кому-то подарили в день рождения...

Тридцать лет он мечтал проехаться с нею на пароходе по Волге. Взять отпуск в одно время с нею и хорошую каюту, и чтобы она отдохнула от зубов, от детей, от хозяйства, и выспалась, и поправилась, – она была очень худенькая. Ему хотелось ухаживать за нею, угадывать ее желания, чтобы она почувствовала, как он ее любит, как он все готов сделать для ее покоя и счастья. Дома ему не удавалось ухаживать. Дети требовали их забот. Сонечка все время была занята и, если он лез помогать ей, говорила: «Постой, Николай, я сама». И всегда получалось, что все делала она, а он только топтался и мешал. Дрова доставала она, ремонтом занималась она...

– Этим летом я непременно повезу тебя по Волге! – говорил он каждую весну.

Но когда приближалось лето, то оказывалось, что самое разумное провести его на даче, в Парголово или Гарховке, дешевле и проще. Что у Игоря диатез, и она его не может оставить. Или что ему, доктору, нужно зимнее пальто, и денег на Волгу нет.

Так она и не дала ему поухаживать за нею.

Может быть, она и не знала, как он ее любил? Он никогда не умел хорошо выразить свои чувства. Он смешон, он знает это. Люди часто посмеиваются над ним, и справедливо. А она всегда была так заботлива и нежна...

И, сжимая руками свою побелевшую голову, он с отчаяньем думал, как это ужасно, что не он, мужчина, призванный на войну, отдал жизнь за то, что все они вместе любили, а отдали жизнь они, мирные женщины, такие веселые и кроткие, такие...

– Милые мои, святые мои, ну что же я мог поделать, я с вами, родные мои...

Часть третья

День

Глава девятая

Юлия Дмитриевна

В одной центральной газете появилась большая статья, подписанная: военврач третьего ранга Супругов. В статье рассказывалось о работе врачебного персонала санитарного поезда, – скромно, без указания имен: о ремонте вагонов, стирке белья в поезде, подсобном хозяйстве; об идеальной организации питания раненых – свежее мясо, свежие яйца, свежий лук, который выращивается в ящиках, домашнее варенье, грибы для сушки...

В статье были приведены похвальные отзывы лиц, посетивших поезд. Кончалась статья так: «Это далеко не все, что мы намерены сделать в целях наилучшей организации перевозки раненых и больных защитников Родины».

Статья произвела в поезде сильное впечатление, ее читали и обсуждали.

Супругов ходил с застенчиво-сияющим лицом именинника.

Доктор Белов, прочитав, спросил Данилова:

– Какого вы мнения об этой статье, Иван Егорыч?

– Что ж, хорошее дело, – сказал Данилов. – Конечно, нам надо обмениваться опытом. Только тогда от наших мероприятий будет прок государству, если они будут применяться в общесоюзном масштабе. Это Супругов хорошо сделал. Жалко только, что он приврал, – лук мы еще только собираемся выращивать.

– Позвольте, Иван Егорыч, – сказал доктор, покраснев. – На каком основании он все время пишет – мы, мы, мы? При чем тут мы? Мы с Супруговым вообще организационными вопросами не занимались – все вы, вы, а ваше имя даже не упомянуто.

– Ну, – сказал Данилов, – это неважно.

Доктор поморгал:

– Вы не думаете, что это он нарочно?

– Нет, – сказал Данилов, – не думаю.

Он был совершенно уверен, что Супругов сделал это нарочно.

Сам перед собой Данилов делал вид, что ему это безразлично. К черту, не для того же он работает, чтобы о нем писали в газетах! А какой-то червяк посасывал: вот ты не спал ночами, придумывал, налаживал, и другие люди работают с тобой, придумывают, волнуются... и о нас ни слова, люди читают газету и все приписывают врачам, только им...

Супругову он сказал только:

– Вы, доктор, нам наделали хлопот: придется сейчас же приступить к выращиванию лука.

Больше всех статья понравилась Юлии Дмитриевне: как хорошо написано! И какой он внимательный – не забыл отметить образцовую постановку перевязочной...

Ее чувство к Супругову принимало размеры, до сих пор неведомые ей.

Супругов был первый мужчина, который искал ее общества. Сначала он делал это потому, что Данилов его третировал, Фаина пугала своими приставаньями, а все остальные смеялись его анекдотам, но равнодушно отворачивались, едва анекдот был закончен. Он чувствовал себя

уверенней в присутствии Юлии Дмитриевны, всегда благожелательной и участливой к нему (он это видел, хотя не догадывался о причине). Сначала это была дружба; и вдруг, после смерти матери, он подумал: а не жениться ли ему на ней?

Жениться?... Это имело свои привлекательные стороны.

Хозяйство – раз... Все-таки хорошо, когда женщина в доме. Не заботиться об обеде, уборке, стирке. Всякие там носки, воротнички... Жить интеллектуальной жизнью. Не шататься по столовкам. Столовка – как-то это несолидно для врача, и кормят невкусно.

Он вспомнил свою квартиру. Узорные шкатулки и ковши. Альманах «Шиповник». Венецианские розовые бокалы, отливающие радугой. Защемило сердце: наемные руки все растащат.

И вообще мужчине следует жениться.

Но, с другой стороны, и литература и жизнь полны примеров непостоянства человеческого чувства. Много ли на свете прочных союзов? Чуть ли не в каждой семье своя драма.

За себя он не боится. На ком бы он ни женился, он будет идеальным мужем. (Конечно, если жена захочет считаться с его привычками и требованиями.) Он домосед, не пьет, не интересуется флиртом. Вопрос: будет ли жена так же неизменно склонна к добропорядочной жизни. Вдруг она захочет каждый вечер принимать гостей. Траты, беспокойство, окурки... Или она кем-нибудь увлечется. Или вздумает его ревновать. Ведь женская ревность почти всегда абсолютно беспочвенна... Или ей захочется иметь детей. Дети всюду сорят, бьют посуду.

Юлия Дмитриевна, наверное, захочет детей. Он усмехнулся с издевкой: вот уж кому не к лицу материнство. Ну что же, есть некрасивые женщины, которые, когда оденутся хорошенько... Гм, только представить ее себе разряженной!

Зато она к нему, видимо, расположена. Она очень рассудительна и хорошая хозяйка. Она будет боготворить его...

Будет ли?

Если учесть, что она старая девица, что она должна быть вечно благодарна и предана ему за то, что он на ней женится, если учесть это...

Но что-то говорило Супругову, что Юлия Дмитриевна, едва выйдя замуж, предъявит мужу ряд требований, которые ему, Супругову, нелегко выполнить.

«Она потребует, чтобы я был общественником, – соображал он. – Не так уж трудно прослыть общественником, и я бы даже не прочь слыть общественником, это дает положение и авторитет... Но ведь она будет требовать, чтобы я всем этим на самом деле интересовался, и придется делать вид, что я интересуюсь, и посвятить этому всю жизнь... Она захочет иметь ребенка и будет его иметь, какие бы я доводы ни приводил. Конечно, это была бы мне серьезная опора в жизни, потому что у нее удивительно твердый, мужской характер, но не слишком ли твердый и не слишком ли мужской? Не подавит ли она меня совершенно своей могучей волей? Она не увлечется никем, потому что она не способна увлечься, но не превратит ли она меня в мужа-мальчика, мужа-слугу? Порядок в доме будет, но это будет ее порядок, а мне останется беспрекословно подчиняться. Очаровательно, когда жена как бы стоит на коленях перед мужем, считая счастьем предупредить его желания. Мыслимо ли представить себе Юлию Дмитриевну в такой позиции? Разумеется, нет, и о моем авторитете в доме речи быть не может...»

И все-таки невольно он лепился под крыло этой прямой и сильной души, в которой угадывал покровителя. Надо отдать справедливость Супругову – не наружность Юлии Дмитриевны была причиной его колебаний. Конечно, он видел, до какой степени она непривлекательна как женщина, но он видел и то, с каким уважением, почти робостью относятся к ней в поезде, и ему льстило, что эта властная и гордая женщина, с которой все считаются, занята им, Супруговым, что она охотно разговаривает с ним и заметно дорожит его обществом. Никогда ни одна серьезная женщина не проявляла к нему интереса.

Юлии Дмитриевне он мог о себе говорить что угодно, и все выслушивалось с таким глубоким вниманием, что он вырастал в собственных глазах. Он думал, что это внимание

проистекает из его, супруговской, исключительности, и то, что Юлия Дмитриевна первая угадала и оценила эту исключительность, придавало Юлии Дмитриевне огромную цену в его глазах.

Он рассказывал ей, сгущая краски, о своем трудном и скудном детстве, о том, как, будучи студентом, он грузил баржи и этим подорвал свое здоровье. Как его потом оценили, и у него появилась практика, и он создал уютное гнездо, и покойная мамочка – бог ей судья, как говорится, – не заботилась о нем, и убегала из уютного гнезда, и проигрывала в лото заработанные им деньги; и он был всегда, в сущности, очень одинок, очень...

– Я надеюсь, – сказал он однажды, – что мое одиночество не будет вечным. Я почти уверен, что ему скоро конец.

Она задрожала внутренне от этой пустой фразы... А когда в другой раз ему взбрело в голову описать ей свою квартиру и даже начертить ее план, она подумала: может быть, в этой квартире ей суждено жить?...

Она могла скрыть свои переживания от кого угодно, только не от Фаины. Фаина по каким-то мельчайшим черточкам распознала *роман* и исполнилась к нему величайшего благожелательства. Фаина гневалась на Супругова за то, что он не обращал на нее внимания, ни одной другой женщине она не позволила бы стать ей поперек дороги. Но *не мешать* Юлии Дмитриевне было актом такой человечности, что Фаина, охотница до всяческой позы, сейчас же взяла на себя роль покровительницы этой зарождающейся любви. Чтобы не мешать *р о м а н у*, она стала под разными предлогами уходить из купе, когда там появлялся Супругов. Таким образом, никто не мешал Юлии Дмитриевне беседовать с Супруговым по вечерам, во время порожних рейсов. Правда, дверь купе всегда была открыта: об этом заботились оба, и в первую очередь Юлия Дмитриевна. Она дорожила своей репутацией честной девушки.

– Я дважды любил, – сказал Супругов, – но ни разу любовь не дала мне настоящего счастья.

В первый раз он влюбился, когда был студентом. Было начало НЭПа голодно, холодно. Зиночка носила деревянные сандалии, прикрепленные к ногам ремешками. Иногда ремешок обрывался на улице, тогда Зиночка скакала на одной ноге в сторонку, в какую-нибудь подворотню, и там приводила свою обувь в порядок при помощи английской булавки.

Супругов ходил в обтрепанных штанах и столовался в студенческой столовой. Он встречался с Зиночкой на маленьких вечеринках у общих знакомых. Там тоже было голодно, но весело: он еще молод был тогда. Танцевали вальс и пели песенку: «И вот маркиза перед ним взор чудный опускает».

Они ходили с Зиночкой в кинематограф, смотрели Веру Холодную («Позабудь про камин») и Мозжухина («Сатана ликующий»). Когда в зале потухал свет, Супругов нежно брал Зиночку за руку. Он был влюблен по всей форме, даже ревновал ее к Мозжухину.

Летом они ходили гулять на кладбище. Кладбище было богатое и содержалось в порядке. Среди цветников и газонов стояли мраморные ангелы, грациозно отставив ногу. Под сенью их слегка запыленных крыльев Супругов позволял себе целовать Зиночку. Все было бы очень приятно, но Зиночка повела себя требовательно, даже нахально. Она не кукла, а живой человек; она не позволит больше так обращаться с собой. Если она недостаточно ему нравится – они расстанутся.

Супругов доказывал, что из этого ничего хорошего не выйдет: они так молоды и так неустроены. Но Зиночка уперлась. Пришлось исполнить ее каприз. Женская ласка давала ему минуты счастья. Но, идя домой после встречи с Зиночкой, он каждый раз испытывал чувство, что делает совсем не то, что надо. Его и раньше смущала бахрома на брюках, теперь она казалась ему позорной.

Зиночка потребовала, чтобы он пошел с нею в ЗАГС. Он пошел, боясь, что его назовут негодяем, если он не пойдет. Но в глубине души он считал все это совсем несвоевременным.

Зарегистрировавшись, они продолжали жить врозь, под разными крышами: она жила в очень маленькой комнате с папой и мамой, а он – в еще меньшей комнате со своей матерью.

Зиночкины папа и мама были против того, чтобы на их одиннадцать квадратных метров с огнедышащей буржуйкой в центре въезжал еще Супругов в своих бахромчатых штанах. Мать Супругова, женщина беспечная и широкая, охотно приняла бы Зиночку на свои шесть с половиной квадратных метров, но тут Супругов проявил железную твердость: нет, пожалуйста. Он не может. Ему где-то нужно заниматься. Слезы и скандалы не помогли. Зиночке пришлось смириться.

Так и жили – ни супруги, ни любовники, черт знает что, никакой поэзии, одни неудобства и унижения. Виновата во всем была Зиночка. Он ее предупреждал.

Вдруг Зиночка забеременела. Ничего убийственнее она не могла придумать.

При известии об этом Супругов испытал настоящий леденящий ужас.

Ребенок?! Тесть и теща немедленно спихнут его вместе с Зиночкой к Супругову, на его шесть с половиной метров. Это же черствые эгоисты. Его, Супругова, будущее их не интересует. С утра до ночи детский писк, горшки, пеленки... Он сойдет с ума.

А расходы на содержание ребенка. Придется бросить факультет и ехать фельдшером в деревню.

Он решил не сдаваться. Он потребовал, чтобы Зиночка сделала аборт. Сама виновата, в конце концов. И ничего особенного тут нет. Тысячи делают...

Тут вдруг вмешалась Зиночкина мама. Она сказала: довольно! Вы искалечили Зиночкину жизнь. Я не позволю, чтобы вы искалечили ее физически.

О, как она на него кричала! Она даже сказала: вы мерзавец. Услышав это, закричала Зиночка. Зиночкин папа закричал на них обеих. Мать и дочь стали рыдать и целоваться. Супругов молчал, у него дрожали колени. Мама сказала, утерев слезы: «Уйдите вон, я не хочу вас видеть». Он ушел...

Все-таки Зиночка сделала аборт и прибежала к нему, похудевшая и подурневшая. Но он уже развелся с нею. Пошел в ЗАГС и развелся. Что это, в самом деле, за безобразие! Втянули в историю, а потом кричат. Хватит с него!

Но он испытал любовь еще раз. Может быть, правду пишут в старых книгах, что это чувство движет мирами.

Приходила одна больная... Ах, приятно вспомнить: какой носик, какие ушки... Характером она была еще смелее и решительнее, чем Зиночка, но в то же время столько женственности и очарования во всех повадках...

Их связь была недолгой, но бурной. Она его боготворила! Она каждый день делала ему какой-нибудь подарок. Прелестные были подарки, все антикварные штучки, он до сих пор их хранит. Да, но потом оказалось, что, делая ему подарки, она ждала того же от него. Она была очень жадная: у нее муж прекрасно зарабатывал, а у него, Супругова, была мать, и он только что начал прилично устраиваться... И вообще он принципиально против любви, которая продается за деньги или подарки.

Короче говоря, она стала сперва говорить ему колкости, потом устраивать скандалы. Он понял, что разрыв неизбежен. И действительно, вскоре они расстались. Жаль, это было красивое чувство, – но, возможно, любовь хороша только в книгах, а в жизни эти бурные страсти приносят гораздо меньше сладких минут, чем горьких...

Обе эти любовные истории в изложении Супругова выглядели вполне изящными. Его собственная роль в них представлялась печальной и благородной. И Юлия Дмитриевна, которой *нужно* было, чтобы он был несчастлив и благороден, слушала его затаив дыхание.

Перед ней впервые раскрывались тайны мужской судьбы. И так же впервые ее честного сердца коснулась ревность. Она ревновала его к тем двум давним привязанностям. Профессора Скудерева она не ревновала, а его ревновала. Потому что профессор Скудерева был иллюзия, а Супругов, к ее радости и муке, постепенно становился *надеждой*.

Новые люди появились в поезде.

Данилов искал столяра: нужен был мастер на мелкие поделки – щиты для носилок, подызголовники, легкие, деликатные аппараты для лечебной физкультуры. Кроме того,

Данилову хотелось сделать в кригеровские вагоны к каждой койке подвесные шкафчики, которые он сам придумал: передвижной шкафчик можно приблизить к раненому на любое расстояние; раненый будет держать там табак, книгу – мало ли что. А в жестких вагонах хорошо бы вместо столиков поставить между лавками тумбочки.

– Хоть бы послал бог столяра, – говорил Данилов.

На станции Иваново бог послал Данилову Богушева, дядю Сашу.

Дядя Саша служил вагонным проводником на железной дороге. Семья жила в Луге: мать, жена, вдовья сестра, две дочери, подросток племянница. Для краткости дядя Саша звал их: мои шесть женщин. Когда немцы приблизились к Луге, дядя Саша выехал с эшеленом, который вез эвакуированных. Шестерых своих женщин он устроил в этот же эшелон. В первый вагон, где он был проводником, он не смог их поместить; проводник хвостового вагона, старый товарищ, душа-человек, взял их к себе. Немцы бросили бомбы на эшелон; два последних вагона были разбиты; ни один человек из них не спасся. Дядя Саша помогал вытаскивать мертвых из-под обломков. Он распознал всех своих шестерых женщин. И старого товарища видел, проводника, душу-человека... Дядя Саша заболел.

Он пробыл в Иваново, в психиатрической, почти полтора года. Потом его выписали. Там же, в Иваново, и подобрал его Данилов.

Дядя Саша поставил в вагоне-изоляторе крошечный верстак и принялся работать. У него был уживчивый, веселый нрав и легкая рука. Он угодил Данилову. В первую очередь он сделал несколько аппаратов для лечебной физкультуры – для упражнений ног и пальцев рук. Потом Данилов поручил ему изготовить экспонаты для выставки, которую устраивал РЭП в связи с предстоящей конференцией военных врачей.

Столярной работой дядя Саша занимался в свободные часы: по штату столяра в санитарном поезде не полагалось, официально дядя Саша был проводником в вагоне-аптеке.

Казалось, дядя Саша переболел своим горем в больнице: он никогда не говорил о прошлом, никто не видел его плачущим и скорбящим. Он только должен был все время что-нибудь делать: в бездействии он становился беспокойным, у него начинали дрожать руки... На дежурстве, сидя около топки в котельной вагона-аптеки, он вязал чулки. Этому рукоделию его научили в больнице.

Дядя Саша пел. У него, должно быть, был когда-то приятный тенорок. Теперь он выдохся, но высокие ноты дядя Саша брал еще с силой. При этом его корпус напрягался и маленькое личико с длинными серыми усами наливалось кровью. Вытянув ноту, дядя Саша брал на гитаре удалой аккорд и посмеивался, будто говоря: «Знай наших!»

Он пел только старые песни: «Как ныне собирается вещей Олег», «Шумел-горел пожар московский», «Мой костер». Когда он заводил «Олега», искушенные слушатели норвили улизнуть из вагона: песне не было конца.

Данилов услышал, как дядя Саша поет, и сказал:

– Вы бы раненым спели.

– Да, – сейчас же откликнулся дядя Саша, – меня на вокзалах Красная Армия хорошо принимала. Имел успех даже у высшего командования. Один генерал-лейтенант за «Шумел-горел» сотню папирос подарил.

Когда кончались процедуры и начинался ужин, дядя Саша надевал поверх ватника белый халат, расчесывал усы, брал гитару и отправлялся по вагонам.

Трудно сказать, в чем был секрет его успеха, но успех был всегда. Дядя Саша ставил табурет посреди вагона, усаживался и начинал «Мой костер в тумане светит».

Кто-то завтра, милый мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

пел он, меланхолично потряхивая усатой головой, и никто не смеялся. А когда он уходил в другой вагон, вдогонку неслись крики:

– Дядя, пой еще! Не выпускайте дядьку, пусть еще поет.

Некоторые песни дядя Саша сопровождал политическими комментариями. Припев:

И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди:
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди,

дядя Саша прерывал пение и говорил:

– Гитлер своевременно не принял во внимание.

И со страстью ударял по струнам:

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда:
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда!

– Дядька, бис! – кричали с полка.

Данилов сказал:

– До каких это пор у нас не будет самостоятельной группы?

И распек комсомольского организатора, сестру Смирнову:

– Сколько раз вам ставили на вид. Это же ваше прямое дело. Вы же молодежь! Вот пришел старый, больной человек, и посмотрите, сколько удовольствия людям от него!

Самостоятельная группа образовалась, едва Данилов дал делу толчок. Персоналу поезда она была нужнее, чем раненым. Все вдруг захотели петь и танцевать. Записался и Низвецкий, и сестра Фаина, и даже Сухоедов: он умел играть на балалайке. Данилов купил несколько струнных инструментов; девушки стали учиться у Сухоедова и дяди Саши.

Неожиданно развернулись таланты толстой Ии: она оказалась хорошим конферансье. У нее не было тонкого юмора, но было веселое лукавство и умение запросто, не задумываясь, перебрасываться с публикой словами, как мячиком, – умение, которое отличало в старые годы армарочных клоунов, любимцев детей и солдат.

«Умная девка какая», – с удивлением думал Данилов.

Немцев выбили из Сталинграда и стали гнать прочь с русской земли. Бои были жестокие, работа у санитарной службы – горячая.

Красная Армия оттесняла врага к западу. Один за другим освобождались районы, оккупированные неприятелем.

Из освобожденных районов хлынула и потекла по советской земле такая река человеческого горя, бездомности, сиротства, неустройства, что у свежего человека путались мысли.

На одной степной станции, где торчали только обгоревшие трубы, а все службы помещались в наспех сколоченной деревянной хибарке, в санитарном поезде появилась Васька.

Это была девочка со светлой косицей, тонкой и мягкой, как шелк, с серыми глазами, худенькая и замороженная на вид.

Ее привел Кострицын. Он сказал:

– Вот. Пожалуйста вам натуральную колхозницу, она больше моего понимает. А чтобы справных людей прилучать к курам – такого закона ни в одной армии нет, как вы себе хотите.

– Сколько тебе лет? – спросил Данилов.

– Семнадцать, – отвечала Васька.

– Откуда ты?

– С хутора Петряева. Так его уже нема.

– Разбит, что ли?

– Спалили, – тихо выдохнула Васька. Отвечая, она проворно оглядывала Данилова светлыми, слегка выпуклыми глазами. Оглядела и Юлию Дмитриевну, стоявшую рядом. Говорила она быстро и запыхавшись, словно ее остановили во время быстрого бега.

– Документ есть?

– Есть, – Васька вытащила из-за пазухи бережно сложенный лоскуток бумаги с чернильными подтеками, словно от слез; там было написано, что *Васка* Буренко в 1941 году окончила пятый класс сагайдакской неполной средней школы на Украине с такими-то отметками... Отметки все были отличные.

– Это не документ, – сказал Данилов.

– А что это? – спросила Васька.

– Как же ты с Украины очутилась тут?

– Приехали. Мы тикали от немцев. А они и сюда пришли.

– Родственники у тебя есть тут? – спросила Юлия Дмитриевна.

– Есть, – сказала Васька. – Сама бабуся. Так она не тут, а рядом, в Лихареве, вот туточко через ярочек, шесть километров.

– А ты зачем от бабуся ушла? – спросила Юлия Дмитриевна.

– Она у знакомых живет, а я не хочу. У них у самих хату спалили, живут в землянке.

– А отец, мать?...

– Мамы нема. Папа – не знаю где. На фронте. Слуху нема.

Васька сказала это так же легко; только светлые брови шевельнулись скорбно.

– Я тебя возьму, – сказал Данилов, – только давай условимся: вперед не врать. Нету тебе семнадцати.

– Ей-богу есть, чтоб мне очи повылазило, – сказала Васька.

– А сколько говорила немцам, чтоб не угнали в Германию? – спросил Данилов, уже ознакомившийся несколько с порядками в оккупированных районах.

– Тринадцать, – отвечала Васька.

Данилов и Юлия Дмитриевна засмеялись.

– Вот это больше похоже на правду, – сказал Данилов. – Так тебя как звать?...

– Васка.

– Васька так Васька, – сказал Данилов.

Вещей у Васьки было: узелок в сером клетчатом платке и огромная старая мужская свитка на плечах, поверх платишка, да худые сапоги.

– Что тут у тебя? – спросила Юлия Дмитриевна, показывая на узелок. – Может, оставишь?

– Ни, – сказала Васька, прижимая узелок к груди.

Она думала: что с нею сейчас будет? Дадут ли ей сперва поесть или сразу начнут обучать, как лечить раненых? Но Юлия Дмитриевна повела ее в простой товарный вагон. Сперва она попала в какой-то закоулок, где за загородкой были поросята. Два – чисто вымытых, сытеньких. Посапывая, они жевали. «Чисто как, – подумала Васька, – навозом даже не смердит». Юлия Дмитриевна отворила низенькую дверь, и Васька очутилась в более просторном помещении. По стенкам висели большие банные шайки и стиральные доски. Вдоль двух стенок стояли металлические столы, а у третьей находилась непонятная штука – вроде большого шкафа, выкрашенная зеленой краской, с тонкими трубами. Сбоку был укреплен большой градусник. Человек в белом халате, заложив руки за спину, стоял и смотрел на градусник. «Доктор», подумала Васька.

– Сухоедов, – сказала Юлия Дмитриевна, – кончите халаты, позовите санитарку, пусть обработает эту новенькую. Ты посиди, девочка.

И ушла. Васька села на табурет. В вагоне было жарко и пахло чем-то кислым.

Ваську качнуло так, что она чуть не слетела с табурета. Она удержалась, ухватившись за металлическую доску стола.

«Бачь, поехала!» – подумала она.

На столе лежал ворох синих одеял. Сухоедов перебрал их, сказал: «Девятнадцать», – вздохнул и посмотрел на Ваську. Васька решила, что пора завязать разговор.

– Дядечку, – спросила она, – а чего с ними будут робить?

– А запах вон туда – и все, – ответил Сухоедов, рассматривая бойкую девчонку: «Куда такое дите?»

– Для чего? – спросила Васька.

– Парить.

– Для чего?

– От микроба.

– Дохнут?

– Дохнут как один.

Васька помолчала.

– Дядечку, – спросила она погодя, – а для чего я тут сижу?

– Очереди дожидаетесь.

– Куда очереди?

«Прыткая! – подумал Сухоедов. – Шпингалет, а туда же, разговаривает!» Вслух он ответил мрачно:

– А вот через двадцать минут выну халаты, тогда ты пойдешь.

– Куда? – спросила Васька.

– Куда! Туда. В дезинфекционную камеру, – и Сухоедов принялся откручивать и закручивать какие-то винты на зеленой штуке.

– Сколько градусов? – спросила Васька.

– Сто четыре.

Замолчали и молчали долго.

– Дядечку!

– Чего?

– А если я не схочу?

– Мало чего ты не хочешь, – сказал Сухоедов. – У нас все, от доктора до кочегара, через эту музыку прошли.

Васька кивнула головой.

«Что ж, – подумала она, – если все прошли, то и я пройду и жива останусь». Ей захотелось поскорее влезть в зеленую штуку и посмотреть, что там делается.

Сухоедову стало жалко ее. Он сказал:

– Ты не бойся, девочка.

– Я, дядечку, не боюсь, – сказала Васька.

Ваське дали старый халат с оборванными завязками и кусок марли повязать голову.

Халат был длинен; Васька взяла ножницы, обрезала полы и подшила. Пришила завязки к вороту и рукавам. Увидав, как сестра Фаина повязывает голову, Васька и себе соорудила такой же тюрбан. Но Юлия Дмитриевна сказала:

– Повяжись прилично.

В санитарки Ваську, по молодости, не допустили, отдали дяде Саше помощницей и ученицей.

Ваське очень понравилось в вагоне-аптеке. Стены такие беленькие, как были в ее *хатынке*, которую спалили немцы. И все так чисто и красиво, боже ж мой!

Васька сидела в кочегарке, но и там было чисто и, главное, – очень тепло. А на дворе стояла сырая, холодная весна.

Дядя Саша учил Ваську:

– У нас пассажиры не простые, драгоценные пассажиры наши. Люди за нас с тобой здоровье утратили, слабые от потери крови, тепло любят. Наше дело проводническое – обеспечить им тепло. Но – опять-таки: уголь зря не расходуй. Следи: когда нужно – приоткроешь топочку, закроешь поддувальце, а то наоборот. Трудности, бывают которые, приучайся перебарывать: казенная норма строгая, а при сильном морозе требуется шесть ведер угля на сутки, а то и все семь. Наше с тобой дело – обеспечить требуемое количество.

Требуемое количество дядя Саша обеспечивал так: приехав на станцию, брал ведро и шел воровать уголь. Станционная охрана хватала его и отводила к коменданту. Сообщали Данилову; он шел выручать дядю Сашу.

Заправив топку углем, Васька шла в тамбур и становилась у окна, выжидая, когда откроют дверь в обмывочную. Дверь открывали часто, и Васька видела этот белый рай с пальмой в кадучке, с блестящими штуками на стенах и с зеркальной дверью в перевязочную. На откидных стульях и на диване, покрытом белым чехлом, раненые ожидали перевязки. Тихо играло радио. Все было так *ловко*, так хорошо, так непохоже на то безобразие, которое окружало Ваську в дни оккупации...

Раненые были одеты одинаково в мягкие синие халаты; самые шумные здесь сидели смиренно, не курили, чинно перелистывали журналы. Васька думала, что все они боятся Юлии Дмитриевны.

Юлия Дмитриевна приходила в перевязочную в шесть утра, а уходила в одиннадцать вечера. Васька как-то взялась считать, сколько раненых за день придет на перевязку: до обеда насчитала сорок шесть человек, а потом ей спутали счет... Перевязки начинались сразу после завтрака и кончались в девять вечера.

Иногда одновременно открывались дверь в обмывочную и дверь в перевязочную, и Васька видела Юлию Дмитриевну, широкую, в халате белее снега, с красным лицом под белой косынкой и с красными руками, поднятыми вровень с лицом, словно Юлия Дмитриевна грозила кому-то... Или Васька видела Юлию Дмитриевну, склоненную над перевязочным столом и делавшую что-то таинственное и мудрое...

Васька стояла в тамбуре так тихо, что даже сердитая сестра Смирнова не гнала ее.

После девяти часов вечера вагон пустел. В нем оставались только Юлия Дмитриевна и Клава (счастливая Клава!). В перевязочной горели металлические инструменты, Клава выбегала за кипятком, пахло чем-то кислым и едким. Потом и Юлия Дмитриевна уходила, и оставалась одна Клава. Она скребла и мыла весь вагон внутри. Она разрешала Ваське входить в обмывочную и в кабинет лечебной физкультуры. И по коридору можно было ходить, по мягкой дорожке. Только аптека была всегда заперта, да в перевязочную Клава не разрешала заходить.

Клава была утомлена и не отвечала на Васькины вопросы. Васька тихонько ходила по вагону, заглядывала в зеркало и гладила жесткие блестящие листья пальмы.

Часа в три ночи Клава, пошатываясь, уходила спать, и Васька оставалась владычицей этого волшебного царства. Перевязочную Клава запирала и ключ уносила с собой. Но и в обмывочной было очень интересно. Можно было лечь на диван и рассматривать журналы и думать при этом: вот я лежу на диване и рассматриваю журнал, а надо мной пальмовые листья. Кто посмотрит, тот подумает: ах, что это за дивчина лежит здесь на диване, что за жизнь у этой дивчины...

Слух у Васьки был тонкий, заячий: чуть хлопнет дверь вдали – Васька вскочит, оправит диван – ничего не заметно – и в кочегарку...

Но однажды дядя Саша пришел ночью проверить топку и застал Ваську спящей на диване. Он не сразу ее добудился; а когда она проснулась, стал топтать на нее ногами.

– Ты это что? Ух, ты!.. – восклицал он приглушенным голосом. – Тут раненые садятся, а она в ватнике лежит, микробов сеет... А замполит наскочит?... Ух, какая! Чтобы я тебя тут больше не видал!

Он не пожаловался на Ваську, но стал приходиться каждую ночь, когда она дежурила. И Васька на всякий случай перестала ложиться на диван.

Данилов назывался уже не комиссаром, а замполитом – заместителем начальника по политической части. Он получил звание капитана. Супругов старшего лейтенанта, доктор Белов – майора медицинской службы. Многие женщины тоже надели погоны со звездочками.

Васька стояла в тамбуре и думала: «У меня тоже будут погоны. Я буду хирургическая сестра, как Юлия Дмитриевна. Я все сумею, как она. Если я захочу, я и на доктора выучусь, пусть они не беспокоятся...»

Юлия Дмитриевна заметила, что Васька вечно торчит за дверью обмывочной. «У этой девочки смышленные глаза», – подумала она.

Как-то вечером она зашла в кочегарку. Васька, стоя на коленях, всаживала в топку консервную баночку.

– Руки обожжешь, Васька, – сказала Юлия Дмитриевна. – Что это ты варишь?

– Столярный клей для дяди Саши, – ответила Васька.

– Смотри – сгорит.

– Ни. Я досмотрю.

Жаркий свет из топки падал на Васькино лицо, оно стало розово-прозрачным, и на волосах Васьки лежала дорожка червонного блеска... «Девочка, – подумала Юлия Дмитриевна, – ребенок...»

Она протянула руку и неловко пригладила Ваське волосы на лбу.

– Подбирай со лба, – сказала она, словно устыдясь этой ласки. – Ты можешь раненого одеть после перевязки?

– Могу, – отвечала Васька.

– Надо осторожно, чтобы не сделать больно. И быстро, потому что другие ждут.

– Я могу быстро.

– Посмотрим, – сказала Юлия Дмитриевна.

Уходя, она оглянулась на Ваську. Васька нагнулась к топке, кончик льняной косички упал в ящик с углем.

В один из дней обратного рейса Юлия Дмитриевна, встретив Ваську, сказала:

– Приходи в перевязочную, я попробую тебя учить. Возьмешь халат у Клавы.

И вот Васька вошла в святая святых вагона-аптеки.

Юлия Дмитриевна торжественно положила ладони на круглую металлическую коробку, блестящую как зеркало.

– Это бикс.

– Бикс, – повторила Васька.

– В биксах я держу стерильный материал. Мы стерилизуем его вот здесь, в автоклаве.

– Стерильный... в автоклаве, – одним дыханием повторила Васька. Ее глаза порхали за пальцами Юлии Дмитриевны.

– Повтори, – сказала Юлия Дмитриевна.

– Это бикс, – сейчас же сказала Васька, кладя обе руки на сверкающую крышку.

– Не трогай, – сказала Юлия Дмитриевна. – Зря ничего не надо трогать руками. Руки – собиратели и разносчики инфекции, то есть заразы.

«Сама так трогаешь», – мимолетно, без обиды, подумала Васька и отложила в памяти еще одно умное слово – инфекция.

– Ладно, – сказала Юлия Дмитриевна, когда урок кончился. – Иди.

– Удивительно толковая девчонка, – сказала она Данилову.

– Да? – недоверчиво спросил Данилов.

Он питал благоговейное уважение к перевязочной и ее инструментам. Ему трудно было поверить, что Васька приспособлена к такой деликатной технике.

– С чего вам вздумалось взять ученицу, – спросил Юлию Дмитриевну Супругов, – да еще такую малолетнюю?

– У нее большой интерес, – отвечала Юлия Дмитриевна. – Если ею хорошенько заняться, из нее выйдет толк.

– Помилуйте, – сказал Супругов, – у вас так мало времени.

– Мы должны учить молодежь, – сказала Юлия Дмитриевна своим бесстрастно-непререкаемым тоном.

Однажды Васька уронила шприц и разбила. Юлия Дмитриевна сверкнула глазами и выгнала Ваську из перевязочной. Вечером, разговаривая с Супруговым, она иногда вспоминала о Ваське, – что та сейчас делает? Ей представилось, что Васька, грустная, сидит на корточках перед открытой топкой, уронив кончик косы в ящик с углем. Червонная полоска лежит на ее

волосах...

«Не придет, пожалуй», – думала Юлия Дмитриевна.

Но на другой день Васька явилась на занятия как ни в чем не бывало.

Глава десятая Доктор Белов

Прошел год.

«Удивительно странно, – писал доктор Белов в своем дневнике, – что орден дали не И. Е., а мне, который ровно ничем не отличился и был все эти годы только лечащим врачом, иногда невнимательным и непредусмотрительным (вспомним трагическую кончину Л.). Я обескуражен и сказал И. Е., что приму все меры к тому, чтобы восторжествовала справедливость. Но И. Е. находит, что с моей стороны было бы не особенно тактично принимать эти меры. Конечно, он пытался уверить меня, что я заслужил орден: он человек благожелательный.

Я нахожу, что он похудел. Он отдает столько времени устройству поезда и поддержанию трудового настроения в людях, что мне стыдно перед ним моего безделья.

Вот Z, напротив, весьма хорошо выглядит. У него даже появилось брюшко. Мне показалось, что Z расстроен тем, что его обошли. Мне очень жаль, но думаю, что он так же мало заслуживает ордена, как и я. Он сказал мне:

– Признайтесь, доктор, что если бы не моя статья, нас не так скоро заметили бы.

Это, безусловно, верно. Я напомнил ему, что его выступление на конференции военных врачей также сыграло в этом смысле положительную роль. Он занял внимание конференции на целых сорок минут, и председатель ни разу не остановил его, хотя регламент был жесткий. Слушали внимательно; неоднократно раздавались аплодисменты и одобрительный смех. Начав с некоторой робостью, Z в дальнейшем ободрился и закончил остроумно и красноречиво, под гром аплодисментов. В перерыве мы были окружены толпой делегатов. Полковник Воронков, начальник РЭПа, пожал нам руки и изъявил желание, чтобы альбом наших усовершенствований был представлен ему лично, он повезет его в Москву, в Главное санитарное управление.

Все-таки я не мог не заметить, что и в этом выступлении, как и в статье, Z ни разу не упомянул об И. Е. и все время говорил: «Мы, мы, мы». Я сказал ему об этом. Он ответил: «Подчеркивать заслугу одного лица значит умалять заслугу коллектива. Я считал это несправедливым по отношению к коллективу».

Все мы твердим о справедливости...

Я хотел выступить и с возможной деликатностью исправить ошибку Z, рассказав конференции, кто был подлинным инициатором и вдохновителем всех наших усовершенствований. Но последующие выступления были посвящены авитаминозу и борьбе с ним, и было невозможно снова выступать с нашими кипятильниками и поросятами. К тому же я очень плохо говорю, гораздо хуже, чем пишу. Но я написал рапорт об И. Е. и передал полковнику.

Не могу избавиться от неприятной мысли, что Z нарочно старается затушевать роль И. Е.»

Толстая клетчатая тетрадь была исписана почти вся: доктор опять пристрастился к дневнику. Подобно дяде Саше, он должен был теперь все время что-то делать. Когда он ничего не делал, он чувствовал упадок душевных сил. Начинала трястись голова, приходили воспоминания, терзавшие сердце.

Он старался входить во все поездные дела, писал о поездных делах, бегал по поезду и гнал воспоминания... А рядом, где бы он ни был и что бы ни делал, были два светлых лица, два образа, живых навсегда.

И третий образ, неясный образ сына.

Ни письма, ни слуха, никакого знака, что он существует.

Погиб?

Доктору посоветовали: напишите в Москву по такому-то адресу, пришлют справку. Он написал; ответа еще не было.

Погиб, конечно. Какой он был, когда погиб? Сколько ему было лет, какое у него было лицо?...

«Мы ездим по освобожденным районам Украины, – писал доктор, – и иногда довольно близко подходим к фронту: немцы потеряли то преимущество в воздухе, какое они имели в начале войны, и мы почти не опасаемся их налетов. Мы еще не привыкли к виду страшного разрушения, которое они нанесли нашим городам и селам, и этот вид зачастую действует на нас болезненно. Но, к слову сказать, здесь я понял мудрость пословицы: на миру и смерть красна. Столько страданий и потерь среди мирного населения в этих местностях, где побывали немцы, что я... (зачеркнуто)... что мне... (зачеркнуто). Я не хочу сказать, разумеется, что это делает мою личную потерю менее чувствительной или что это как-то утешает меня, но... (зачеркнуто).

...Станции здесь разрушены, водокачек нет во многих местах. Иногда приходится таскать воду ведрами из речки или колодцев, чтобы заполнить баки. Тогда все берут ведра и идут по воде, не исключая и офицерско-сержантского состава. Заполняют баки, бочки, кипятильник дезинфекционной камеры, и все-таки экономим воду, потому что неизвестно, где удастся пополнить запасы в следующий раз. Около станции Братешки наши люди подобрали цистерну, пробитую снарядами в четырех местах. Железнодорожники спрашивали – на черта санитарной службе этот лом? Чтобы всадить цистерну в багажник, Богушев и Протасов вынули у двери косяки, потом вставили их снова. И. Е. говорит, что в ближайшем пункте, где для этого будут условия, он прикажет сварить цистерну в местах пробоин, и мы получим добавочный резервуар на две тысячи литров воды. Кравцов подал мысль соединить цистерну резиновым шлангом с пищевыми котлами вагона-кухни, который помещается рядом с багажником.

Я не перестаю удивляться нашим людям, их терпению, трудолюбию, неиссякаемости их порыва. Удивляться, и завидовать, и желать подражать им...»

Идя порожняком, санитарный поезд остановился в К: нужно было полудить кухонные котлы.

Стоянка должна была продлиться дней пять. Доктор Белов сказал Данилову:

– Я хотел бы съездить денька на два в Ленинград.

– Зачем это? – спросил Данилов.

Доктор помолчал, отвернувшись.

– Я съезжу, знаете. Это не отразится, нет?...

– Не отразится, – сказал Данилов. – Поезжайте, что ж.

Он устроил начальника с комфортом – в служебной теплушке поезда, идущего в Ленинград с реэвакуированными. Пошептался с главным кондуктором, и тот предоставил доктору свою койку.

В теплушке топилась времянка, было тепло. Доктор угощал бригаду тушенкой и очень стеснялся лечь на койку; но его заставили.

Из разговора с главным доктор узнал, что железнодорожники хорошо знают его поезд.

– О вас писали в нашей газете, – сказал главный. – Ставили в образец, что вы всегда чисто ходите, даже снаружи вагоны вымытые, стекла блестят. Помните, когда вы стояли в Вологде, вас перевели на первый путь. Это как раз генерал прибыл, начальник дороги, так комендант распорядился: поставьте, говорит, перед окнами вокзала тот красивый поезд...

Доктор, помаргивая, вспоминал: действительно перевели на первый путь, и генерал приходил смотреть, записал в книгу благодарность... Не забыть рассказать Ивану Егорычу.

Бездействие было сегодня особенно тяжело. Заснуть доктор не мог, как ни старался. Он разговаривал, пробовал читать роман, который лежал у главного на столике: не доходили до сердца любовные страдания героев... Главный принес свежий номер «Правды». Доктор прочитал газету от первой до последней строчки. Даже театральные объявления: в Большом идет «Сусанин», в Художественном – «Царь Федор». Все на месте. Жизнь продолжается, день

на дворе.

Он старался не думать о том, что поезд приближается к Ленинграду, и что там будет, и для чего он поехал. Напрасно он поехал. Все фантазии. Горе не отучило его от фантазий.

Сотни раз он представлял себе, что вот он приехал в Ленинград...

И во сне он это видел. Во сне Сонечка и Ляля были живы. Дом стоял на месте целехонек, они выходили навстречу, говорили, смеялись... Александр Иваныч все напутал по дряхлости своей и занятости. В другом сне дома не было, лежала маленькая, крошечная кучка пепла. Сонечка и Ляля стояли рядом, живые, и объясняли ему, доктору, что вот эта кучка пепла – это их дом.

Просыпаться после таких снов было хуже всего.

Нет, наяву он, конечно, не надеялся увидеть Сонечку и Лялю. Таких ошибок не бывает. Пишет старый, добрый, внимательный друг: он сам проводил на кладбище их останки...

Наяву у него была другая фантазия – он думал, что в Ленинграде он встретится с Игорем.

Игорь не погиб. Доктор приехал в Ленинград и идет домой пешком. От Московского вокзала он идет по Невскому, сворачивает на Литейный, с Литейного – на улицу Пестеля. Мимо Михайловского замка, через Марсово поле, мимо памятника Суворову, по Кировскому мосту на Петроградскую сторону.

Мечеть. (Сонечка говорила, что минареты мечети похожи на змеиные головки. Еще она говорила, что крылья Казанского собора охватывают его и поднимают над землей. Иногда, замученная домашними заботами, она говорила: «До чего вы мне все надоели!» И уходила из дому одна, шла посмотреть на мечеть, на Казанский собор, на Неву. Возвращалась усталая и кроткая, в пыльных туфлях, виновато спрашивала: «Ну, как тут без меня?...» – и заваривала чай...)

И вот он идет по своей улице и издали видит свой разрушенный дом. Навстречу доктору, от другого угла, идет Игорь в военной форме. Он тонкий, длинный, слегка сутулится. Слегка заплетает ногами... В армии его отучили заплетать ногами. Он идет прямо.

Они приближаются друг к другу. «Папа! – говорит Игорь и бросается ему на шею. – Папочка! Это ты! Я не узнал тебя в кителе...» И оба плачут от счастья.

Игорь не заплачет и на шею не кинется. «Здравствуй, папа», – скажет он, подавая руку. И доктор проглотит слезы, которые и сейчас бьются в горле. Он стоит рядом с сыном, они смотрят на развалины дома. Темнеет. «Что ж, пойдем», – говорит Игорь. Они идут рядом. Идут к Александру Иванычу, попроситься переночевать. Старушка Полина Алексеевна, которую он лечил от воспаления печени, отворяет дверь и всплескивает руками. «Боже мой, это вы! – восклицает она. – А ведь у нас Игорь. Только что приехал. Игорь! Иди сюда!..» Да нет же. Откуда еще один Игорь. Он уже нашел Игоря. Вот он, с ним, пришел переночевать. Фантазии спутались между собой. Мысли путаются. Полина Алексеевна умерла от голода во время блокады. И такие встречи бывают только на сцене, в жизни не бывают...

Что же бывает? И бывает ли вообще? Или ничего не осталось на свете, кроме горя?

Он все-таки заснул. Проснулся вечером, горела лампочка. В вагоне никого не было. Поезд стоял. Доктор сел на койке, соображая, как бы узнать – далеко ли еще. В теплушку вошел главный и сказал:

– Ленинград.

Стоянка в К предстояла долгая.

В поезде экстренной работы не было, и Данилов отпустил часть персонала погулять.

Девушки начистили сапоги, припудрились, посмотрелись в зеркало и побежали в город – пройтись по улицам, поглядеть на «гражданку», побывать в кино...

Васька и Ия вошли в парикмахерскую. Седенький гардеробщик, очень похожий на доктора Белова, велел им снять верхнее платье. Они отдали ему свои шинельки и чинно сели на стулья.

В парикмахерской шла страшно интересная, ни на что не похожая жизнь. В углу за столиком сидели две женщины, одна была в белом халате и маленькими кусачками что-то

делала с пальцами второй.

– Это чего? – спросила Васька.

– Дура! – шепнула Ия. – Это маникюр.

Перед высокими зеркалами сидели в креслах женщины, молодые и пожилые. Их покорные лица отражались в зеркалах. Шеи у них были обмотаны полотенцами. Вокруг этих женщин хлопотали парикмахерши, молодые и пожилые. Лязгали ножницы. Летели клочья темных и светлых волос. У брюнетки кроткого вида, сидевшей в крайнем кресле, брови и ресницы были густо замазаны. Парикмахерша подула на длинные щипцы и стала накручивать на них волосы брюнетки. От головы брюнетки повалил дым. Брюнетка осторожно моргала замазанными ресницами и все терпела.

В соседней комнате происходили уже совершенные страсти. Там сидела женщина. Штук сорок, а может, и больше, электрических шнуров было протянуто от ее головы к стенке. Женщина не могла повернуть голову, а только водила глазами.

– А это чего? – со страстным интересом спросила Васька.

– Перманент, – ответила Ия.

Парикмахерша подошла к женщине в шнурах и стала орудовать у ее головы точно так же, как орудовал Низвецкий у своей доски с штепселями.

Женщина у столика встала и стала махать руками, и Васька залюбовалась на ее ногти, ярко-розовые и блестящие, как конфетки.

Встала и брюнетка, и Васька была поражена ее красотой. Волосы брюнетки лежали на голове маленькими плотными колбасками. Ресницы были угольно-черные и загнутые вверх, а брови – непередаваемой прелести: длинные, от переносья до висков, и уж такие ровненькие, такие аккуратненькие, каких на самом деле никогда не бывает.

Васька почувствовала едкую зависть. Ей тоже нужна такая красота.

– Садитесь, девушки, – сказала парикмахерша.

Ия села к зеркалу, а Васька велела сделать себе маникюр. Вода в миске была ужасно горячая, а маникюрша, возясь с заскорузлыми от работы Васькиными пальцами, два раза порезала их ножницами до крови, но Васька и глазом не моргнула: все терпят, и она может терпеть.

Она с любовью посмотрела на свои ярко-розовые ногти. «Какие прелестные ногти у этой дивчины, – скажут все. – Ах, смотрите, смотрите, что за ногти!»

Она села к зеркалу.

– Перманент? – спросила парикмахерша.

Васька хотела ответить утвердительно. Но вмешалась Ия:

– Перманент не успеет. Нам через час уже дома надо быть. Ты завейся.

– Завейте, – прошептала Васька.

Парикмахерши трудились от всего сердца. Эти девушки в солдатских гимнастерках вызывали их симпатию. Парикмахерши расспрашивали – кто они, откуда, где им довелось побывать. Разговор стал общим. В нем приняли участие и другие клиентки, и маникюрша, и старый гардеробщик. Молчала только женщина в шнурах, глядевшая из соседней комнаты, как паук.

– Брови, девушка? – спросила парикмахерша. И едва Васька кивнула головой, как парикмахерша схватила бритву и откромсала ей брови почти начисто.

– Ой! – сказала Васька. – Не чересчур тонко?

– Любите широкие? – спросила парикмахерша. – Сделаем пошире.

Наконец кончились сладостные процедуры.

– С шестимесячной гарантией, – сказала парикмахерша, глядя на Ваську с любовью. – Не бойтесь, милочка, не смоются, не выгорят, ничего им не сделается. Носите на здоровье.

Васька и Ия расплатились, надели шинели и, провожаемые сердечными напутствиями, отправились на вокзал.

Данилов похаживал около поезда.

– Это что такое? – сказал он, увидев Ваську.

У нее на беленьком веснушчатом детском лице чернели толстые брови от переносья до висков. От них лицо стало старым, плачевным и угрожающим.

– В кабинете красоты побывали? – спросил Данилов, увидев локоны из-под пилотки и почуяв запах одеколона. – Ну, завились – ладно. А это смыть.

Васька стояла навытяжку.

– Разрешите доложить, товарищ замполит, – сказала она, – они не смываются и не выгорают, хоть бы что.

– Я сам тебе отмою! – сказал Данилов. – У меня смоются!

– А вот и нет! – сказала Васька.

В тот день в Н-ской газете был напечатан очерк о поезде.

Данилов с интересом читал, и опять многое показалось ему излишне прикрашенным, а многое – недоговоренным.

Он перечитал очерк еще раз и тихо засмеялся: всего не заметишь сразу, вишь – самое интересное чуть не пропустил.

Очерк был, в сущности, не столько о поезде, сколько о докторе Супругове. «Доктор Супругов рассказал, с каким энтузиазмом персонал санитарного поезда на своих плечах перетаскивал в багажник многопудовую цистерну... Доктор Супругов говорит, что... Доктор Супругов показывает нам...»

Супругов, Супругов, всюду Супругов! Показывает, рассказывает, вдохновляет! Ах, ловкач, сукин сын! Данилов хохотал от души, развалился на диване.

Так застала его Юлия Дмитриевна.

– Чему вы смеетесь?

Он протянул ей газету.

– Я читала, – сказала она. – Разве это смешно? Я не заметила ничего смешного.

Ей понравился очерк. Фамилия Супругова, много раз повторенная, доставляла ей наслаждение.

Главный сказал, чтобы он до рассвета никуда не ходил. Доктор послушался. Он пересел на лавку, сидел и молчал.

Молоденький проводник принес дров, растопил времянку и вскипятил чай. Доктору налили кружку, он выпил. Какой-то парнишка ходил за проводником по пятам с ящиком шахмат и говорил:

– Мишка! Сыграем!

Мишка не отвечал.

– Сыгра-аем! – ныл второй.

– Мало я тебе набил, еще хочешь? – спросил Мишка.

– Я понял, в чем дело, – сказал второй, – я переменю дебют.

В конце концов Мишка согласился играть партию. Он быстро выиграл, сказал:

– Ну тебя к черту, все ты проигрываешь, скука с тобой, – и оба парня легли спать на ящиках. И ночь прошла.

Доктор простился с главным, вылез из теплушки и пошел домой.

С Невского свернул на Литейный, с Литейного – на улицу Пестеля. Мимо Михайловского замка, через Марсово, мимо памятника Суворову, по Кировскому мосту на Петроградскую: маршрутом, облюбованным в фантазиях.

Если бы его спросили, как выглядит Невский и что он видел на Литейном, он бы не смог ответить. Он не заметил ничего. Даже мечеть пропустил.

Светало по мере того, как он приближался к своему дому.

Вот этот дом... Но он такой же, как был? Да, он вспомнил, ему говорили, это маскируют фанерами, чтобы разрушения не были заметны. Чтобы улицы имели нормальный вид. Дом

нарисован на фанере. Он имеет нормальный вид. На самом деле его нет...

Внутри войти нельзя.

Он отошел на середину мостовой, чтобы лучше увидеть дом, нарисованный на фанере. Там, на мостовой, ему стало худо, он грохнулся. Опомнился в дворничихе на сундуке. Дворничиха стояла над ним и говорила:

– Софья бы Леонтьевна посмотрела, такой стал молодой человек, дай ему бог.

Дворничиха его знала, а он ее не помнил и сказал ей об этом. Она сказала:

– Да я же Стиркина сестра, неужели не помните?

Стирку он помнил, а эту, ее сестру, кажется, никогда не видел. Она все что-то говорила, он сначала не понимал, потом понял и встал, но колени подломились.

Игорь приезжал сюда месяц назад. Сидел тут в дворничихе и расспрашивал Стиркину сестру, как погибли мать и Ляля. Не плакал и ничего такого не говорил, только спрашивал. Спросил, где отец. У них не было адреса. Он написал записку и оставил им – на случай, если отец приедет. И сказал, что такие же записки оставит у всех знакомых, каких найдет.

– Где записка? – спросил доктор.

Записку спрятала сестра, она на работе в ночной смене, скоро придет. И вот она пришла, не скоро, через сто лет, но все-таки пришла, она стала очень старая, но была жива и работала. И Лида работала, ее дочка, недавно она вышла замуж и ждала ребенка... Еще сто лет Стирка искала записку, которую Лида брала прочесть и куда-то засунула, и нашла, и доктор держал записку в руках.

«Отец, где ты, жив ли ты? Хочу, чтобы ты был жив», – прочел он. И дальше еще несколько слов и пять цифр – номер почты, адрес сына, солдатский, земной, живой адрес сына... Я жив, Игорек! Мы с тобой живы! Закончим наше дело и встретимся с тобой. Ты этого хочешь?! Я жив, мой мальчик, я жив!

Глава одиннадцатая

Лена

Люди в санитарном поезде все время учились.

Сестры под управлением Юлии Дмитриевны изучали хирургический инструментарий и технику сложных перевязок. Санитарки слушали лекции врачей. Сестра Фаина работала месяц в стационарном госпитале, специализируясь по физиотерапии. Сестра Смирнова ездила на курсы лечебной физкультуры.

Фиму, кухонную девушку, посылали на кулинарные курсы. Она вернулась с хорошим аттестатом, и ее поставили поваром: прежняя повариха не угождала раненым.

Лену занимали легкие хорошенькие приборы для лечебной физкультуры. Она быстро переняла у Смирновой нехитрую науку ЛФК... У нее занятия с ранеными шли успешнее, потому что она, физкультурница, знала секреты и возможности человеческого тела, неведомые Смирновой.

– Огородникова стала гораздо серьезнее, – сказала Юлия Дмитриевна.

Лена улыбалась про себя: она такая же, как была.

Никто не умел так обращаться с ранеными, как она. Если попадался раненый с особенно неуживчивым нравом, его помещали к Лене: Лена успокоит.

– Научи, как ты делаешь, что они у тебя шелковые, – спрашивали санитарки.

– А я сама не знаю, – отвечала Лена.

Чтобы раненые не думали о боли, она разговаривала с ними: расспрашивала, кто, откуда, сколько классов окончил, какая семья. Мало ли о чем можно спросить человека. Если плакал, она его гладила, и целовала, и утешала. Когда они капризничали, она не раздражалась, а старалась исполнить их капризы и шутила при этом, и они тоже начинали смеяться.

Ей дали звание младшего сержанта. Она надела сержантские погоны с тем веселым удовлетворением, с каким надевала когда-то спортивный призовой значок.

– Ой, Леночка, ты постарела! – с огорчением сказала толстая Ия.

Лена посмотрелась в свое маленькое в форме палитры зеркальце: да, есть морщинки у глаз, – откуда они взялись? И щеки бледные; это от недостатка воздуха и оттого, что она не тренируется, ведь она с детства привыкла тренироваться каждый день.

Ничего, скоро конец, она опять будет тренироваться, заниматься с детьми, получать призы на состязаниях и любить Даню, любить Даню!

Так и не было от него писем. Продолжалось это нелепое недоразумение, сделавшее разлуку еще тяжелее. Всякие могут быть недоразумения во время войны.

Скоро конец. Немцев бьют уже за рубежом, в Польше. Поезд ходит за ранеными за границу. Проклятые фашисты, хоть бы сдавались скорее. Ну, пусть же получают еще и еще за то, что изломали ее жизнь.

Однажды она чуть не поверила, что Даня погиб. Почему чуть-чуть не поверила? Потому что погода была очень плохая, дождь лил без передышки четвертые сутки, днем приходилось зажигать электричество. Настроение у всех было неважное. А тут Надя получила известие, что ее жених убит: пока она собиралась съездить к нему, его взяли в действующую, и он погиб при форсировании какой-то маленькой речки, которой даже на картах нет. Его товарищи написали об этом Наде. Утешая Надю, Лена вдруг подумала – а вдруг и Даня?... Но это была минутная слабость. Не может над ними восторжествовать смерть.

Скоро конец, они встретятся. Лена чаще стала смотреться в зеркало и однажды поняла, что она действительно дурнеет, уже дурнеет – в двадцать пять лет! Она возмутилась, она была вне себя, все в ней закричало: я не хочу!

Это оттого, что я живу без счастья. Я не просто живу без счастья, я глушу в себе желание счастья, каждый день я топчу его ногами, затаптываю поглубже... Больше мне нельзя так. Товарищи, скорее, скорее! Давайте скорее добивать фашистов, а то я скоро без счастья завяну совсем!

Почему в меня никто не влюбляется? Пусть влюбится кто-нибудь. Все равно кто. Пусть Низвецкий.

Он больной, бедняга. Все равно. Он ей не нужен ни больной, ни здоровый. Пусть влюбится, и больше ничего.

Она стала нарочно приходить туда, где бывал Низвецкий, и садилась или становилась так, чтобы он видел ее лицо. Она шутила, смеялась, шурила глаза – все для него, чтобы он влюбился. К нему она не обращалась, разговаривала с другими. Он смотрел на нее недоуменно и грустно, некрасиво поднимая брови и наморщив желтый лоб, а она холодно думала:

«Ну, влюбляйся скорей».

Он влюбился очень скоро. Он стал часто проходить через ее вагон. Она даже не поворачивала к нему голову: ходишь, вот и хорошо, и ходи себе, а мне ты не нужен.

Ваську, по просьбе Юлии Дмитриевны, перевели в санитарки в шестой вагон.

Во время Васькиного дежурства в шестом вагоне произошел неприятный случай: у раненого с ампутацией руки ночью открылось кровотечение. Васька, обходя вагон, заметила на подушке темное пятно, поглядела – кровь! Ампутант спал. Васька помчалась в соседний вагон и попросила дежурного сбегать за сестрой Фаиной. Вернувшись, она взяла чистую простыню и подошла к ампутанту. Как нарочно, он спал крепко, а она боялась будить его, чтобы не проснулись другие.

– Дядечку! – отчаянно шептала она ему в ухо. – Дядечку-у-у! Ой, да дядечку!..

– Что?... – спросил ампутант, вскочив.

– Тише, дядечку, не волнуйтесь, у вас кровь пошла, – сказала Васька.

Она наложила жгут из простыни ему на плечо и принялась затягивать. Она уперлась коленом в полку и скрипела зубами от усилия.

– Дядечку! – сказала она, пыхтя. – Пособите трошки вашей рукой.

– Ну давай, давай, – сказал ампутант. – Давай покручу. Бежит?

– Еще бежит. Еще крутите, дядечку...

Когда пришли сестры и доктор Белов, кровотечение уже унялось, под ампутантом было

постелено чистое сухое белье и Васька ела конфету, которую ей дал ампутант.

– Я дам о вас приказ, знаете, – сказал Ваське доктор. – Вы молодец.

– Мне как Юлия Дмитриевна велели, я так и делала, – сказала Васька с конфетой за щекой.

Шли порожняком по Южной дороге.

– Вот туточко моя родина, – сказала Васька Лене, стоя у окна.

Было начало зимы. Пышный снег лежал на украинских безбрежных полях. Снегом были укрыты пепелища и горы лома на станциях – окаянные следы фашистов. Васька по-старушечьи сложила руки на узенькой груди, подперла щеку ладонью.

– Вот сейчас будут три дубочка, – сказала она, – так от них еще далеко. Будет сперва станция Сагайдак; хотя бы ее и не было, я место узнаю, я там училась в школе. А подальше к Ерьськам наш колхоз...

Всего и было разговору. Лену позвали. Васька осталась у окна. Промелькнули в стороне три дубочка. Васька отпрянула от окна, духом накинула свитку и платок и выскочила на площадку.

Она думала, что поезд остановится в Сагайдаке. Но поезд пронесся мимо засыпанных снегом лачуг, стоявших на месте прежней станции. Следующая станция – Ерьськи. Уж в Ерьськах обязательно будет остановка: Васька своими ушами слышала, как Кравцов сказал Протасову: «В Ерьськах купим».

Ой, снег, снег, все закрыл, все знаки! Нет – вон молоденький тополь, он вырос за три года, он уже не хлопчик, а парубок, но она его узнала!.. Васька взялась за холодный поручень и спустилась на нижнюю подножку. Мелькнул сугроб. Васька взвизгнула и прыгнула в сугроб.

Она лежала, пока не прогрохотали мимо все вагоны. Тогда она встала, очистилась от снега, поправила платок и побежала по насыпи, высматривая в снегу дорогу к колхозу.

Она спрыгнула с поезда потому, что ей вдруг пришло в голову: в колхозе родичи, может, знают что-нибудь о папе. Может, папа сами прислали письмо, спрашивают, где Васька и бабуся, а родичи не знают.

Хорошо также рассказать родичам, как она остановила кровотечение у ампутанта.

Васьки хватились сейчас же: Сухоедов видел, что километрах в пяти от Сагайдака кто-то выпал из вагона команды. Сочли людей и выяснили, что нет Васьки.

– Она мне сказала, что тут ее родина, – сказала Лена.

– Вот – связываться с недорослями... – сказал Данилов с досадой. А Юлия Дмитриевна думала: «Хоть бы не убились...»

В Ерьськах стояли почти два часа. Данилов умышленно затянул стоянку, он ждал Ваську. «Вернется!» – думал он. К концу второго часа Васька явилась. От нее пахло яблоками и снегом.

– Ну? – спросил Данилов. – Побывала дома?

– Побывала, – ответила она и улыбнулась ликующе.

У него не хватило духа бранить ее.

– Все в порядке? – спросил он.

– Ничего, живут, – сейчас же пошла сыпать Васька, разматывая платок. – Живут в землянке, но ничего... Яблуков дали. От папы письмо пришло, кланяются, в партизанах были они...

Лене интересно было наблюдать, как барахтается Низвецкий.

То он переставал ходить через ее вагон, то бегал целый день взад и вперед. То не смотрел, то она опять ловила его грустный и испуганный взгляд... В общем, все обстояло так, как она хотела. Она равнодушно занималась своими делами.

Она раньше всех прибрала в своем вагоне после груженого рейса. Освободившись, она пришла в вагон команды, вынула из сундучка рубашку и чулки, починила. Потом написала еще одно письмо. Писать было трудно: уже все слова сотни раз написаны и произнесены. Оставался этот жар сердца, о котором она не умела написать.

Лена скинула туфли, легла на свою койку, открыла книгу, которую взяла в поездной

библиотечке: стихи Лермонтова. «Они любили друг друга так долго и нежно», – прочла она.

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Значит, не любили друг друга, вот и все.

За перегородкой неторопливо беседовали старики: Сухоедов, Кострицын и Протасов. Они сидели в ряд, как на завалинке; напротив лежал больной Низвецкий, пергаментно-желтый, с ввалившимися глазами в почерневших глазницах.

– Вот и у меня, – говорил, будто журчал, Протасов, – суставы пухнут, видишь, пальцы в узлах. А жилы. Ты посмотри. Это что за жилы, с такими жилами нешто жизнь.

– Почему не жизнь? – спросил Сухоедов. – Можно и с такими. Склероз, стариковское дело. Пей заместо водки йод, до ста лет проживешь.

– Нет, – вздохнул Протасов. – Труды наши кончаются, как только наладятся дела после войны – выхожу на пенсию, и баста.

– Тебе хорошо, – сказал Кострицын. – Оба сына целы, будешь дедом жить на покое. А мой пришел без руки, а у невестки четверо душ, подними-ка всех.

Тихо простонал Низвецкий.

– Подлюга какая болезнь, – сказал Кострицын. – Такая стерва болезнь хуже бомбы...

Лена гадала по книге Лермонтова. Она зажмурила глаза, наугад раскрыла книгу, нащупала строчку:

На что нам знать твои мечты?
Не для того пред нами ты!

Не подходит.

Во второй раз получилось:

Забывать? – забвенья не дал бог:
Да он и не взял бы забвенья!..

Совсем не то, что ей нужно.

Поезд пришел в Б. Лена пошла на вокзал – опустить письма и подышать воздухом.

Она продолжала писать на тот адрес, который сообщил ей муж вскоре после начала войны.

Вокзал был разбит. Здания без крыш и окон. Кругом скелеты зданий. Все серо, неприятно. Ни зима, ни осень, моросит, под ногами бурое месиво...

Лена шла, засунув руки в карманы шинели, сдвинув ушанку на затылок.

Подошел воинский эшелон. Красноармейцы высыпали из теплушек, наводнили платформы. «С нами, девушка?» – на бегу крикнул Лене один румяный, широколицый. Лена улыбнулась ему. Он, не останавливаясь, оскалил белые зубы, пробежал...

– Даня!!

Он шел в потоке гимнастеров и не слышал ее крика. Она узнала его издали и крикнула издали. Как она узнала? Она никогда раньше не видела его в шинели и ушанке. Лицо у него огрубело и потемнело. Походка была как у сотен других, шедших рядом. Все равно, она узнала его сразу, едва ее взгляд упал на него.

– Даня, Даня...

От счастья она смеялась тихим смехом. Он подошел, она протянула руки... Он взял ее руку, пожал. Кругом были люди, ей было совестно целовать его при людях... Неужели она все-таки отвыкла от него? Она обняла его голову и поцеловала.

– Ты здесь! – сказал он.

– Да! – ответила она, задыхаясь, близко и лучезарно глядя ему в глаза. – Ты жив.

– Я жив, – ответил он. – Это довольно крупная удача, принимая во внимание, в каких переплетках пришлось побывать... Сержант, – он кивнул на ее погоны, – скажи, пожалуйста...

– Вон мой поезд, – сказала она.

– Да? – сказал он. – А мы на Варшаву. Будем брать Варшаву. Как вообще твои дела? Ты похудела...

– Даня, – сказала она, – я не хочу говорить, мне хочется смотреть и слушать... Смотри на меня. Почему ты не писал?

– Как не писал? – сказал он. – Я писал. Вероятно, не доставили. – Он помолчал, озабоченно глядя на нее. – Как мы встретились, Леночка...

– Ты живой! – сказала она и погладила ладонью его лицо. Он слегка отодвинулся:

– Не надо, Леночка.

Она ничего не замечала. Счастье сделало ее слепой.

– Я смеюсь, знаешь, почему я смеюсь? Я не знаю, почему я смеюсь... Милый, смотри, все побежали, разве уже сейчас?

– Да, сейчас, – пробормотал он и зашагал к поезду, она рядом с ним. Досадно, не успел набрать кипятку. У нас времянка, но набрать проще...

– Я только что отправила тебе письмо, – сказала она и не отводила глаз от его лица. – Лучше бы я тебе отдала. Ты получаешь?

– Нет, – сказал он. – То есть, конечно, получаю. Сейчас я, собственно, даже не знаю, как ко мне писать...

Они стояли около теплушки. Два офицера стояли в открытой двери, курили и смотрели на них сверху.

– Я люблю тебя! – громко сказала Лена, обняла его и потянулась поцеловать.

– Ленка! – сказал он. – Я не хочу обманывать. – Он взял ее за локти, виновато пожал. – Прости меня. Так случилось, знаешь... Я женат.

Она смотрела на него. Она не поняла, что он сказал. Кто кого обманывает? Что простить? Он женат? Конечно, он женат, она его жена...

– Так вышло, – продолжал он вполголоса. – Такая нам, видно, судьба – *планида* ... – Он неловко улыбнулся. – Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка, эти вещи делаются помимо нашей воли, ты знаешь... С одними война разлучает, с другими сблизает... Конечно, комнату и прочее ты забирай себе, – прибавил он скороговоркой, брезгливо сморщившись.

Какие вещи? Почему забирать комнату? Он думает, что его убьют?...

– Прости, – повторил он, опуская глаза под ее взглядом.

Вдруг она поняла. У нее опустились плечи.

Он говорил, запинаясь:

– Я много думал: почему так получилось?... Не знаю. Может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу. Слишком внезапно... Был угар. И когда мы разлучились, он прошел...

– У меня не прошел, – сказала она серыми губами.

Он не расслышал слов, но угадал их смысл – по ее глазам, по движению ее головы.

– Ты сумела это сберечь...

Она повернулась и пошла от него.

Вложив руки в карманы, она шла медленной, тяжелой, чужой походкой.

Она шла изнемогая. Любовь, дававшая ей силу, красоту и радость, теперь давила ей плечи, как тяжкий крест. Этот крест она будет нести до тех пор, пока не найдет сил сбросить его с себя.

Глава двенадцатая

Данилов

Данилов не особенно любил природу. Вернее, он о ней как-то не думал: он вырос среди

лесов и полей и не замечал их красоты. Глядя на тучные, в цветах, луга, он думал: «Сено нынешний год будет хорошее». Видя лес, думал: «Вот где стройматериалу-то!» Его занимали люди, их дела и взаимоотношения.

Но на пути к Варшаве даже он был поражен красотой лесного пейзажа. Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато – на подбор, как отборная рать; и все тонуло в лебяжьей, незапятнанной белизне только что выпавшего снега. Снег лежал пластами на широких лапах елей; застревал между веточками круглыми нежными пушками. «Сказка!» – думал Данилов, стоя на площадке, щура глаза от этой серебряной белизны, плывущей мимо молчаливо и величаво в сиянье своей прелести и непорочности... Солнце, спускаясь, ненадолго осыпало снега розовыми блестками, потом малиновыми. И закатилось, и мягкие голубые тени, как благословение покоя, легли в лесу... Поезд остановился.

Его остановил небольшой отряд бойцов, русских и поляков. Командиром у них был молоденький младший лейтенант. Валенки бойцов были покрыты снегом до колен. Снегом были посыпаны их ушанки и плечи. Они вышли из глубины этого богатырского леса.

Младший лейтенант просил подвезти их: они ехали ликвидировать банды, которыми кишели леса вокруг Варшавы.

– Домашнее дело, – сказал лейтенант. – Немцы чисто все поуतेкали, остались бандиты с одними пулеметами – орудия немцы увезли. В Червонном Бору только вчера истребили последнюю банду.

Поезд имел путевку в Червонный Бор.

Отряд разместили в штабном вагоне и напоили чаем. Через два прогона бойцы вылезли.

Поздно вечером, среди леса, поезд принимал раненых. Госпиталь помещался в четырехэтажном, одиноко стоящем здании, без всяких пристроек, чопорной и красивой архитектуры.

Из леса, не туша ярких фар, выкатывали автомашины с ранеными. Погрузка шла быстро. Часа через три поезд двинулся обратно. Раненые были прифронтные, недавно с поля боя.

– Знаете, – сказал доктор Белов Данилову, – в шестом вагоне едут две женщины. Офицеры. У одной нога ампутирована до бедра. Очень досадно, знаете, пришлось положить их в жесткий, в кригерах совсем нет мест.

В кригерах не было мест, потому что в этот рейс было особенно много тяжелораненых. Даже изолятор был заполнен ими.

Данилов, совершая утренний обход по вагонам, заглянул к раненым женщинам. Они лежали в крайнем купе; по приказанию доктора Белова купе было занавешено простыней. Данилов осторожно заглянул. Женщины спали одна почти ничком, зарыв лицо в подушку; подрагивал от толчков поезда ее стриженный белокурый пушистый затылок; другая натянула простыню почти до переносья, лоб у нее был в морщинах, волосы седые, среди седины несколько угольно-черных прядей, а веки большие, очень темные. Такая усталость и такая скорбь были в этих плотно опущенных веках, что Данилов отошел на цыпочках и шепотом сказал дежурной санитарке Ваське:

– Тут женщины у тебя едут – ты их не беспокой, пусть спят. Заглядывай почаще, но не тревожь. А то я вас знаю, вы чем свет начинаете людям градусники тыкать...

Васька побаивалась Данилова. Она сейчас же разыскала сестру Смирнову и сказала ей:

– Были замполит, велели женщин не беспокоить, нехай спят.

То же самое она сказала сестре Фаине.

И Смирновой, и Фаине было не до спящих женщин, – они сбивались с ног: рейс был трудный.

Утро пришло хлопотливо. Ни один человек не вернулся к обеденному часу в штабной вагон, кроме Супругова.

– Я привык к режиму, – говорил Супругов. – Правильный режим – залог работоспособности.

Он снял халат, вымыл руки и с удовольствием сел к столику, на котором в тарелках,

прикрытых белоснежной салфеткой, уже был подан обед. Пришел Соболев.

– Где они все, вы мне скажите? – спросил он. – Порции стынут, я же не имею физической возможности подогреть по десять раз.

– Придут, – отвечал Супругов, поднимая салфетку. – О, что я вижу!..

– Да, – глубоко вздохнул Соболев. – В груженные рейсы кушаем, как дай бог было кушать в тысяча девятьсот сороковом году...

Разговор был прерван стуком в дверь – громким, неделикатным стуком. Стучала Смирнова.

– Доктор, – сказала она не своим голосом, – идите скорей в шестой вагон.

– Что такое? – спросил Супругов.

Он только что насадил на вилку кусок жареной свинины, смазал его горчицей и увенчал колечком лука.

– Раненая рожает, – сказала Смирнова.

Супругов не понял:

– Как рожает?

– Ну, обыкновенно как, – грубо ответила Смирнова. Ее обозлила эта вилка с куском мяса, которую благоговейно-неподвижно, торчком, держал перед собой Супругов. Вышибить бы у него тарелку из-под носа... Смирнова была молода, горяча, – все ее нехитрые переживания отражались в ее хмурых серых глазах...

– Растрясло ее, вот и рожает, – объяснила она. – Та, что без ноги.

Супругов отправил свинину себе в рот и закусил кусочком хлеба. Глаза его наполнились слезами: от горчицы.

– Позвольте, – сказал он, прожевав, – ведь у нее в эпикризе ничего не сказано о беременности?

– Не сказано.

– А старшая сестра там? – спросил Супругов.

– Старшая сестра в девятом вагоне, у припадочного. Они все там.

– А Ольга Михайловна?

– В кригерах, на перевязках.

Супругов подумал. Вот всегда так: когда экстренный случай, все оказываются занятыми. А он при чем? Он не акушер. Ухо, горло, нос... Он не обязан быть повивальной бабкой.

Супругов сказал:

– Почему паника? Уж кто-кто, а вы, женщина, должны уметь оказать помощь в таких случаях.

И, с удовольствием видя, что Смирнова побагровела и в ее откровенных глазах выразилось желание прихлопнуть его на месте, он, вставая, сказал:

– Идите, я сейчас приду.

Но когда, вымыв руки и надев халат, он пришел в шестой вагон, там уже хлопотали Ольга Михайловна и Юлия Дмитриевна, вызванные Васькой. Супругов с брезгливым любопытством взглянул на рожавшую женщину. Конвульсии сводили ее большое, с высоким животом тело, накрытое простыней. Седая голова с уцелевшими кое-где черными прядями металась по подушке.

– Кричите, милая, кричите! – ласковой скороговоркой говорила Ольга Михайловна. – Не стесняйтесь, ничего тут такого нет; легче будет.

Женщина не кричала. Пятно пота расплылось по подушке вокруг ее головы, искусанные губы распухли. Она подавляла протяжные стоны, похожие на мычанье, глаза в темных ямах дико и страшно смотрели с воспаленного лица.

– Разочек крикните как следует! – убеждала Ольга Михайловна. Юлия Дмитриевна увидела Супругова и вышла к нему.

– Вы тут совершенно не нужны! – сказала она, девически смутившись. – Мы управимся без вас.

Он посмотрел на нее, и какая-то шаловливая мысль заставила его прищуриться.

Положительно, все это неспроста – и опущенные глаза, и быстрое неловкое движение, которое она сделала, увидев его... Вот, значит, как. Впрочем, что-то в этом роде ему и раньше казалось...

Чертовски забавно.

– Я удивляюсь одному, – сказал Супругов строго, – я удивляюсь тому, что в эпикризе ни слова не сказано о беременности.

– Допустим, было бы сказано, – возразила Юлия Дмитриевна. – Мы все равно не могли бы предотвратить то, что случилось.

– Это преступление! – сказал Супругов. – Эвакуировать такую больную преступление.

– Вы забываете, что ее нельзя было оставлять вблизи от фронта. Роды преждевременные.

Она должна была родить через два месяца.

Юлия Дмитриевна уже справилась со своим смущением и говорила обычным уверенным тоном, но все еще не смотрела Супругову в глаза.

Прибежал доктор Белов. Только что в девятом вагоне у контуженого окончился тяжелый припадок, и доктор поспешил к роженице. Надо же, надо же, чтобы именно эта несчастная женщина, у которой нога ампутирована почти по бедру...

– Ну? – спросил доктор Белов, с мольбой переводя глаза с Юлии Дмитриевны на Супругова. – Как она?

– Ничего, организм здоровый. Если бы она могла иметь нормальные потуги, дело шло бы быстрее. Но она не может иметь нормальные потуги, потому что у нее одна нога.

Это сказала Юлия Дмитриевна. Супругов сделал печальное лицо и вздохнул. Растроганный доктор Белов сейчас же исполнился благодарности к нему:

– Хорошо, что вы здесь, голубчик. Вы слушали сердце?

Супругов замялся. Юлия Дмитриевна пришла к нему на помощь:

– Я слежу за сердцем. Все хорошо. Имей она возможность упираться ногами – она уже родила бы.

За простыней раздался крик, от которого вздрогнули все мужчины в вагоне: седая женщина не выдержала – закричала.

Родился слабенький семимесячный мальчик, и с первой станции передали в М, чтобы М-ский эвакуопункт выслал к поезду машину за родильницей и ребенком.

Рассказ обо всем этом Данилов выслушал как-то вскользь, без особенного интереса. Мысли его были заняты человеком из девятого вагона. Как все выходящее за предел и трудно объяснимое, болезнь этого человека раздражала Данилова. К таким явлениям, как раны, инфекция, газовая гангрена, как все те разрушения, которые производятся в человеческом теле металлом и невидимыми существами, именуемыми микробами, Данилов уже привык. Но человек, с которым он сегодня провозился битых два часа, не был ранен. Его сбила с ног воздушная волна от разрыва снаряда. Он упал и даже не очень ушибся. Он не потерял ни капли крови, потерял только сознание, и то ненадолго. И вдруг после этого у него начались припадки. Словно злая сила поселилась в нем, швыряла его затылком о пол, пружинила его тело, как в столбняке, вызывала на его губах бешеную пену. А до этого человек никогда не страдал эпилепсией, нервы у него были в порядке, родители его и деды были здоровы. Это было непонятно. Объяснения врачей казались Данилову сбивчивыми и туманными. Если бы он прочитал о таком случае в книге, он бы не поверил, подумал: что-нибудь не так! Но он наблюдал припадок собственными глазами. Он сам расспрашивал этого человека, он держал его голову во время припадка и ощущал злую силу, которая колотила о койку тело больного так, что с ним едва могли совладать четверо здоровых мужчин. Да, это, несомненно, было, но этого не должно быть, как не должно быть ничего темного, неразумного, злого, от чего мучается человек.

Данилов вернулся в штаб на исходе дня. Отказался от обеда – ничего не хотелось, он чувствовал усталость и тревогу. Скрутил папиросу, закурил тревога улеглась, мысли прояснились. В свой час наука научится вылечивать и от этой чертовой болезни, как она

научилась вылечивать от туберкулеза, сифилиса, газовой гангрены. В конце концов, судьба этого контуженого не самая страшная. Если бы ему предложили поменяться с той безногой, что родила в пути, – он бы, наверно, подумал, а подумав – отказался... И, вспомнив о безногой, Данилов захотел повидать ее.

Родильница лежала, укрытая одеялами: ее знобило, хотя в вагоне было тепло. Ребенка около нее не было: его унесли в изолятор.

– Как чувствуете себя? – спросил Данилов родильницу.

Лицо ее было в тени верхней полки, из тени блестели глаза. Света еще не зажигали.

– Ничего, хорошо.

Голос надтреснутый, хриповатый. Данилов присел на угол койки напротив, в ногах у стриженной блондинки. Блондинка сосредоточенно скручивала папиросу, подбирая табачные крошки с одеяла тонкими огрубевшими пальцами.

– А не вредно ли вам, чтоб дымили тут?... – неодобрительно сказал Данилов, обращаясь к родильнице. Та слегка улыбнулась большим ртом. Блондинка сказала с досадой:

– Это я для нее. Она целый день курит, а меня заставляет крутить... Натя! – сказала она сердито, протягивая папиросу родильнице.

– Я потом, – сказала родильница и положила папиросу на стол, а блондинка сейчас же принялась скручивать новую. Видно, родильнице было холодно – она потянула одеяло к лицу, укрылась, как давеча, почти до глаз...

– Вы кто? – спросила она, не отводя блестящего взгляда от лица Данилова. – Врач?

Он сказал.

– Давно вы тут?

– С первых дней войны.

– А до войны кем были?

Выходило так, что не он ее расспрашивал, а она его. Это и лучше: легче завязать разговор. Вкратце он ответил ей, потом спросил:

– А вы какую имеете специальность?

– Я? – Она ответила не сразу, сухо, коротко: – Я работала в советском аппарате.

– А муж?

– Убит на фронте.

Она не хотела говорить о себе. Ему стало досадно.

– Трудно будет вам с ребенком, – сказал он напрямик. Он шел к ней утешить, обнадежить, сказать, что и с ребенком и без ноги не пропадет она. А она вон какая: сухая, колючая, – о нем все выспросила, а потом взяла и поставила между ним и собою стенку, – дескать, сюда не заглядывай, не твое дело.

Она подтвердила:

– Да, трудно.

– Родственники есть?

– Есть.

– Пособят...

Она резко засмеялась:

– Пособят, если поклониться...

По смеху он понял: не пойдет она кланяться родственникам. Ему представилось, как она идет по улице, выписавшись из госпиталя. Протез ей поставить нельзя. К костылям присуждена до конца дней. Ребенка нести не может, ребенка несет за нею кто-то чужой. Он представил себе все это, но ему не было ее жалко. Ту жалость, которая пригнала его сюда, сняло как рукой. Он испытывал теперь только уважение к этой женщине и к трудной судьбе, ожидавшей ее. Для такой судьбы жалость была слишком мелка.

Он хотел спросить – из какого она города, есть ли у нее еще дети, партийная или нет. Но она сказала глухо, сразу уставшим голосом:

– Я вас попрошу, товарищ замполит, позовите ко мне сестру.

Он понял, что она не хочет никакого разговора. Он ушел. Уходя, слышал, как она сказала

блондинке:

– Вот теперь закурю, Варюша, ох, закурю!

Она ему приснилась в эту ночь: большая, седоволосая, неприступная, шла она по улице на костылях, и кто-то нес за нею ребенка. И даже во сне он не узнал ее.

Он узнал ее только утром, на вокзале в М. Санитарный автомобиль ждал на рампе. Два санитаров на носилках вынесли из вагона ее и ребенка. Данилов смотрел из окна штабного вагона. Большой рукой женщина охватила закутанного в одеяло ребенка, и на ее лице, обращенном к ребенку, была забота и боль. И в ярком свете зимнего утра Данилов узнал это лицо, узнал сквозь маску, наложенную временем и страданием, сквозь все морщины, и тени, и отеки, единственное дорогое лицо с маленьким, звездочкой, белым шрамом на скуле... «Ах, витязь, то была Фаина!» – закричал кто-то ему в ухо голосом Соболя. Носилки исчезли в глубине автомобиля. Автомобиль тронулся, и поезд тронулся тоже. Данилов стоял у окна. Он еще ничего не понял, только узнал. «Ах, витязь, то была Фаина!» – трубил ему в ухо голос Соболя. «Ах, витязь, то была Фаина!» – грохотали колеса, набирая скорость и гнев.

Вот и повстречались.

Повстречались, а он не узнал ее и сидел около нее как чужой. И говорил с нею через стенку, которую она перед собой поставила.

А ведь она его узнала сразу. Чем больше он думал, тем сильнее убеждался в том, что сразу узнала.

Как внимательно она разглядывала его. Она спрашивала, кто он и кем был до войны. Она хотела знать, кем он стал, ее ученик, оставивший неизгладимую отметину на ее лице.

О себе ничего не пожелала рассказывать. Не призналась ему...

Какое облегчение, почти радость была в ее голосе, когда она сказала:

– Вот теперь закурю, Варюша...

Она потому и не курила при нем, чтобы спичка не осветила ей лицо. И выгнала его поскорей – пока не узнал.

Боялась – вдруг он узнает ее, угадает по какой-то нотке голоса.

Он не узнал, не угадал.

И мог ли он узнать?

Прошла почти четверть века. Между этой суровой седой женщиной и той прежней Фаиной так же мало общего, как между Даниловым и пареньком, за поступки которого Данилов не отвечает.

Паренек с пушком на губе и смеющаяся Фаина с распущенными мокрыми волосами – дорогие образы, оставленные у входа в жизнь.

Нет у Данилова того влечения, той нежности. Четверть века... Сколько это дней, и ночей, и мыслей, и дел. И седина на висках... Разве мог бы паренек соскучиться по дому, по родному углу? А вот Данилов, – поймите, соскучился...

Глава тринадцатая

Канун мирного дня

Фаина давно заметила, что Низвецкий влюблен в Лену. Такие вещи Фаина распознавала каким-то шестым чувством. Злое, сухо-насмешливое лицо Лены возмущало ее.

«Скажите, пожалуйста! – думала Фаина. – Эта девочка считает себя вправе играть людьми только потому, что она молода и хороша собой...»

Однажды вечером, идя из аптеки в штабной вагон, Фаина налетела на Низвецкого. Он починал проводку в офицерском жестком. Фаина толкнула его дверью и сказала:

– Ах!.. Это вы.

Он молча посторонился. Он всегда скромно сторонился, если кто-нибудь попадался ему навстречу. Фаина остановилась:

– Что-то я хотела вам сказать, товарищ Низвецкий... да: вы можете починить мне

настольную лампу?

– Могу, – сказал Низвецкий.

– Сегодня можете? – спросила Фаина. – Сейчас?

– Можно сейчас, – ответил Низвецкий своим тихим унылым голосом. – Вот только проверю проводку.

У Фаины не было заранее намеченного плана действий, она позвала Низвецкого по какому-то откровению, неожиданно для самой себя. Она вернулась в купе, напевая: «Ты меня ни о чем не расспрашивай», насыпала в вазочку печенья и заварила чай.

Через полчаса пришел Низвецкий с куском проволоки в руках. Вид у него был такой, словно ему уже никогда не радоваться жизни.

Фаина сказала:

– Ах, лампа? Она давно не работает, я ее засунула куда-то под диван. Давайте сначала напьемся чаю, я умираю пить!

(Невозможно же было сознаться, что лампа в полной исправности...)

Низвецкий очень стеснялся. В купе было чисто, лежали белоснежные вышитые подушечки на голубых чехлах. Около зеркала стояла вереница слонов – один крошечный, потом все больше, больше – как диаграмма. Низвецкий насчитал тринадцать штук... Он неловко присел на краешек дивана, стыдясь того, что дурно одет: знал бы – надел хороший костюм...

– Я, может, зайду позже? – пробормотал он.

– Боже мой, нет, – сказала Фаина, накладывая варенье в блюдечки. Сидите, сидите, не вскакивайте! Не мешайте мне хозяйничать!

Низвецкий ушел от Фаины с легким звоном в ушах, с переполненным желудком и с сердцем, растроганным женской заботой, которую Фаина щедро излила на него.

«Славная она», – думал он, вспоминая ее варенье, добродушную болтовню и раскатистый смех. Он не думал, что она кокетничает с ним; он был просто благодарен ей. После ее купе, где пахло духами и ванилью, в вагоне команды ему показалось душно и неудобно. Проходя мимо того места, где спала Лена, он мельком взглянул туда... Лены не было. Должно быть, она еще у себя в кригере, – но ему не захотелось сейчас идти туда...

Лампу починить не удалось. К концу чаепития Низвецкий вспомнил о цели своего прихода. Но Фаина сказала, что она хочет спать, и попросила Низвецкого прийти завтра вечером: в самом деле, надо же починить лампу, без лампы она, Фаина, как без рук...

Под Берлином шли последние бои. Была середина апреля 1945 года. Санитарный поезд направлялся в Омск на годовой ремонт.

Доктор Белов получил телеграмму с приказом об отпусках. Он вышел из своего купе, сияя всеми морщинками и держа телеграмму над головой.

– Это касается и вас, – сказал он Юлии Дмитриевне, которую встретил первой. – Только, знаете, вы все сначала будете плясать. Все, все, кто тут перечислен.

И тут же, не дожидаясь, пока ему спляшут, вслух прочел телеграмму. В число отпускников попали Супругов, Юлия Дмитриевна, Кравцов и Лена Огородникова.

Доктора очень огорчило то, что некоторые отпускники не проявили особенной радости. Клава Мухина сказала:

– Как же мы обе уедем – Юлия Дмитриевна и я, а кто будет смотреть за перевязочной?

Лена прямо отказалась от отпуска, сказав, что ей не хочется ехать, и просила вместо нее предоставить отпуск Наде. А доктор думал, что Лена больше всех обрадуется отдыху: у нее был такой усталый вид в последнее время и больное лицо...

Юлия Дмитриевна, узнав об отпуске, стала особенно, сверхъестественно красной; потом вдруг побледнела и сжала губы с выражением мрачной тревоги.

Этот отпуск должен был решить ее судьбу. Она поедет вместе с Супруговым.

Ведь он описывал ей свою квартиру? Даже чертил план; этот план она спрятала и иногда любовалась им... Ведь сказал ей однажды так нежно: «Спокойной ночи» – и поцеловал руку...

И ведь сказал же, узнав об отпуске:

– Мы, конечно, поедem вместе?

В первый раз в жизни сумасшедшая надежда овладела ею.

Это должно получиться так...

(Конечно, она уже не особенно молода, ей скоро сорок четыре; но благодаря своему здоровью она выглядит гораздо моложе, у нее ни одного седого волоса и совсем мало морщин. Да ведь и он не мальчик, как ни говори! И она некрасива, – но разве мало на свете некрасивых женщин, которых любят и ласкают? Она знала одну дурнушку, которая четыре раза выходила замуж. Один очень интересный доктор чуть не застрелился из-за нее. Совсем уже хотел стреляться, с трудом его отговорили.)

Это должно получиться так: они приедут вместе в родной город, и он ей скажет... Нет, он скажет ей еще в дороге, все должно быть решено до приезда. «Дорогая, – скажет он ей, – я не могу без вас, будьте моей женой». Может быть, он еще добавит: «моим спутником», или «моим товарищем», или что-нибудь в этом роде. А может быть, и не добавит, потому что все эти понятия сочетаются в прекрасном, извечном, волнующем слове: жена. Как счастливы женщины, которые чьи-нибудь жены. Которые были когда-нибудь чьими-нибудь женами. Как прекрасна жизнь женщин, у которых есть дети...

Дети! Она робко провела ладонями по своей груди и по животу. У нее были бы здоровые, цветущие дети. Она создана для материнства. Она это знает.

Он объяснится в дороге, и прямо с вокзала они поедут к нему на квартиру. Он повезет ее к себе на квартиру... Это будет немножко чужое жилье для нее, к нему придется привыкать, и обживать его, и сживаться с соседями, но что делать? Дом жены там, где дом ее мужа.

В первый же день она поведет его к своим. Они придут под руку любящие супруги. Как будут рады папа и мама. Они, наверное, совсем поставили крест на ее замужестве. И вдруг она придет под руку с мужем...

Минутами ее уверенность была так велика, что она готова была послать домой телеграмму: «Еду отпуск вместе мужем ждите Юля».

Но внезапно исчезала вера в возможность счастья, и наступал упадок: слабость – до физической немощи, почти до тошноты.

«Этого не может быть, – думала она. – Ничего этого со мной не может быть».

А потом она видела Супругова и слышала особенные, значительные нотки его голоса, и ловила его взгляд, тоже особенный, значительный, и его улыбку, обращенную к ней, – и опять ее взмывала волна...

Она так устала от этого чередования надежды и безнадежности, что иногда ею овладевало желание пойти к нему и спросить начистоту: да или нет?

Но ее удерживали женская гордость, женский стыд и еще одно чувство, более сильное, чем даже гордость и стыд, – страх полной безнадежности.

Она не могла отказаться от своей мечты. Это был ее первый реальный женский расчет. Первый и – последний: ей сорок четыре года. Скоро старость. Жизнь уходит. Если уйдет Супругов, ей больше не останется никаких надежд на замужество, материнство, на нормальную жизнь, которую живут миллионы женщин, не ценя ее.

Супругов сказал Данилову очень любезно:

– Как же это так вам не дали отпуска, Иван Егорыч, ай-ай-ай...

Ему было очень приятно, что Данилова обошли, а его, Супругова, отметили. Теперь он был уверен, что получит орден: поезд везде хвалили, о нем писали в газетах, макет Потребовали на всесоюзную выставку, а ведь он, Супругов, первый о нем писал, вы помните, когда РЭП еще не обращал на них такого внимания... К сожалению, Данилов тоже получит орден, ну, конечно: замполит! Хотя вот Данилову отпуска не дали, а ему дали...

Данилов не стал объяснять Супругову, что не хочет ехать в отпуск до конца войны и что список отпускников доктор Белов составлял вместе с ним. Он сказал равнодушно:

– Я недели через две поеду в В по партийным делам.

Он был занят Кравцовым. Придется Кравцова пустить съездить раньше, а самому поехать,

когда Кравцов вернется: кто-нибудь из них двоих должен присматривать за ремонтом, нельзя доверить такое дело ни начальнику, ни Соболю, ни Протасову.

– И потом – двигатель, – говорил Данилов Кравцову. – Успеете отремонтировать двигатель?

– Кажется, – отвечал Кравцов, – мы знакомы не первый год.

– А вернетесь вовремя?

– Ну, достаточно, товарищ замполит, – сказал Кравцов. – Мне надоели эти шутки. Давно пора предоставить мне отпуск. Нашли дурака, который по вольному найму работает больше каторжного.

Данилов устроил Кравцову почетные проводы. Кравцову перед частью была вынесена благодарность и выдана премия – отрез на костюм и именные часы.

– Приеду домой с подарками, – сказал Кравцов, вернувшись к себе на электростанцию. – Отрез старухе на платье, а сыну подарю свои старые часы, они лучше всяких новых.

Васька и толстая Ия тоже собирались в В: их командировали на курсы медицинских сестер. Данилов вызвал их к себе и сказал им напутственное слово:

– Всякий вздорный элемент вы знаете какие распускает слухи о девушках-санитарках. Вы на слухи плюйте, но себя держите так, чтобы подкопаться нельзя было. Чтобы скромность и опрятность в одежде, в походке, в голосе, во всем. Чтобы показывали на вас как на образец поведения. Чтобы вот этой пакости не было больше, – сказал он, показывая на Васькино лицо.

– Чего я могу сделать! – сказала Васька. – Когда они с шестимесячной гарантией.

– Что-то мне кажется, – сказал Данилов, – что я тебя больше года вижу с этими бровями.

– Ну что же мне делать, – сказала Васька, – повеситься или что? Я их сулемой отмывала и керосином, ничего не берет.

Она врала – уже два раза за это время она была в парикмахерской и чернила брови...

Данилов велел Соболю щедро снабдить девушек на дорогу продуктами, и веселые, с большими коробками от медикаментов вместо чемоданов, они пересели на товарный поезд, идущий в сторону Ленинграда.

Юлия Дмитриевна и Супругов уехали через два дня.

– Дорогая вы моя, – сказала Фаина, прощаясь с Юлией Дмитриевной, – я вам желаю всего, всего! Вы даже не можете себе представить, до какой степени я этого желаю!

Лицо ее сияло, она широко, торжествующе распахнула объятия и поцеловала Юлию Дмитриевну. Та смутилась и неловко чмокнула Фаину жесткими губами...

Она села с Супруговым в мягкое купе скорого поезда. Им предстояло тридцать шесть часов совместного пути.

Если бы Юлия Дмитриевна не была в таком смятенном состоянии, пассажирское купе после ее белоснежной санитарной обители показалось бы ей очень запущенным и грязным: диваны были пыльные, электричество горело тускло, багажные сетки прохудились. Из жидкой подушки, которую принес проводник, лез пух. Но ей, такой опрятной и брезгливой, на этот раз было все равно.

Выехали они вечером. Супругов сейчас же стал устраиваться на ночлег и, перебросившись с Юлией Дмитриевной несколькими фразами, заснул сладко. Она тоже легла, но не могла заснуть. Никогда прежде она не бывала в такой близости к мужчине, которого любила. Только убогий вагонный столик разделял их. На верхних полках спали еще какие-то мужчины – военные, судя по сапогам, стоявшим на полу.

Она не спала, лежала лицом вверх, трясаясь от толчков поезда, и думала о том, сколько в стране мужчин, молодых и старых, больных и здоровых, и нет среди них ни одного, который захотел бы разделить с нею свою мужскую судьбу, свою мужскую душу. Супругов лежал к ней спиной, она видела его аккуратно подстриженный затылок и руку в полосатом рукаве рубашки, лежавшую поверх одеяла, и понимала, что он безгранично далек от нее, что это все фантазии, мираж, бабьи глупости. Ей было так тяжело, что хотелось заплакать, чтобы полегчало; но она не умела плакать.

Утром он встал как ни в чем не бывало, словно не знал, что из-за него она провела бессонную ночь. Предложил ей одеколон, когда она ушла умываться, готовил для нее бутерброды, и так вежливо, так почтительно разговаривал с нею, что она опять расцвела. Военные смотрели на них сверху, дымя в потолок крепким табаком, и Юлии Дмитриевне это было приятно. Однако она была очень довольна, когда в купе зашел молодой подполковник и увел обоих военных к себе, играть в преферанс, и они с Супруговым остались вдвоем.

Супругов как будто смутился. Сославшись на духоту, он отворил дверь в коридор. «Как он благороден, – подумала Юлия Дмитриевна, – он боится скомпрометировать меня».

– Мы едем без опоздания? – спросила она, чтобы заполнить неловкую паузу.

– Да, – отвечал он. – Мы будем в В завтра часов в шесть утра. – И поглядел на часы. – Нам осталось ехать еще восемнадцать часов.

«Еще восемнадцать часов ожидания», – подумала она. Ей захотелось, чтобы поезд опоздал, чтобы он шел долго-долго, чтобы долго-долго она оставалась с *ним* и со своей надеждой.

– Не поесть ли нам? – предложил Супругов.

Она согласилась, хотя ей еще не хотелось есть. Опять он достал коробку с провизией и опять любовно, со знанием дела, приготовил бутерброды. Она вяло ела и думала: «Вот так мы будем есть и есть, а там вернутся наши попутчики, а там ночь, а там домой приедем, и все кончено».

– Не поспать ли нам? – сказал Супругов, покончив с едой. – Когда же и отдохнуть, если не в дороге, не правда ли?

И он проворно лег и заснул или сделал вид, что спит, а она сидела и прощалась со своей надеждой, со своей первой и последней реальной мечтой.

Какие у нее некрасивые красные руки с желтыми ногтями. Из подушек лезет пух, вся юбка у нее в пуху. Проклятая обыденность стародевичьей, никому не нужной жизни... Должно быть, эти военные с насмешкой наблюдали, как Супругов ухаживает за нею. О, дура, поделом ей...

Какие-то люди проходили мимо открытой двери и заглядывали в купе. Она боялась, чтобы они не прочли страданье на ее лице, и старалась принять спокойное и равнодушное выражение. А люди, заглянув в купе, думали: какое усталое лицо у этой женщины в лейтенантских погонах. И больше ничего они не думали.

Утром Юлия Дмитриевна и Супругов прощались на вокзальной площади.

– Вы в трамвае? – спросил он.

– Нет, – отвечала она, – я пешком. Мне близко.

– Может быть, позвать вам носильщика?

– Нет. Я справлюсь сама.

Она говорила повелительно и твердо, а он смотрел на нее и думал:

«Женщина ошиблась в расчетах. Но она недурно маскируется».

– Прощайте, – сказала она первая, и голос ее вдруг сорвался, в нем прозвучало почти рыданье.

– До свиданья, дорогая, – поправил он мягко. – До скорого свиданья в санитарном поезде.

Он поцеловал ей руку. Она быстро и неловко отняла руку и быстро пошла по вокзальной площади, широкая и нескладная, с тяжелым чемоданом в руке.

Утром в поезде, после того, как они позавтракали, он сосчитал оставшиеся продукты, щепетильно разделил их на две равные части и переложил в чемодан Юлии Дмитриевны сколько-то банок и сколько-то кульков.

И в том, как он считал эти банки и резал шпик, было что-то до того унижительное, что у нее сжималось горло при воспоминании об этом.

Бледная и мрачная, со стиснутым ртом, она переходила людную вокзальную площадь...

– Юлия Дмитриевна! Юлия Дмитриевна! – раздался за нею отчаянный крик. Она оглянулась – на нее летела Васька в солдатской гимнастерке, с угольно-черными бровями от переносья до висков.

– Васька, – сказала Юлия Дмитриевна рассеянно, – ты что, Васька?

– О боже ж мой, Юлия Дмитриевна! – горячо воскликнула Васька. – Я же вас каждое утро хожу встречать. Ой, ну какое счастье, что я вас не пропустила!

– Не встречать, а встречать, – машинально поправила Юлия Дмитриевна.

– Ну, встречать, – согласилась Васька. – Юлия Дмитриевна, мы уже учимся с позавчерашнего дня, я и Ия, Юлия Дмитриевна, и на нас все удивляются, какие мы культурные и как много знаем, и я больше всех ей-богу.

– Где Ия? – спросила Юлия Дмитриевна.

– В общежитии. Она еще спит. Мы вчера всем курсом были в кино, ой, мы с ней так плакали... Дайте мне чемодан ваш, Юлия Дмитриевна.

И Васька проворно выхватила у Юлии Дмитриевны чемодан.

– Пойдем со мной, Васька, – попросила Юлия Дмитриевна, чувствуя себя легче в Васькином присутствии. – Пойдем ко мне домой.

Она пошла, не слушая, что говорит Васька. Пришли на тихую чистую улицу, обсаженную вязами, – одну из самых старых и степенных улиц в городе. Каждый вяз на этой улице, каждую плиту на панели Юлия Дмитриевна знала с детства.

– Скоро ваш дом? – спросила Васька.

– Скоро, – ответила Юлия Дмитриевна. – Вот сейчас за углом.

На углу стояла баба с бидоном и озиралась по сторонам.

– Фершал где живет? – спросила она Юлию Дмитриевну, когда та подошла.

Юлия Дмитриевна улыбнулась. Баба с бидоном, ищущая фельдшера, была как бы преддверьем ее родного дома.

За дверь упал тяжелый болт, дверь распахнулась, взметнулись старческие руки в отпашных рукавах капота:

– Милая, милая! Я в окошко увидела – героиня наша идет, красавица наша идет... Представь – только вчера о тебе справлялся профессор Скудеревский... Митя! Митя! Вставай, деточка наша приехала, Юленька приехала...

Приехав домой, Кравцов узнал от своей старухи, что Сережка, сын, назначен помощником машиниста на тот самый дизель, на котором до войны работал Кравцов. Сережке шел всего восемнадцатый год, и мать гордилась его назначением.

– Ничего особенного нет, – сказал Кравцов. – Я тоже с пятнадцати лет при моторах.

Побрившись и надев праздничный костюм, он отправился на завод. С видом снисхождения и превосходства познакомился с новым начальником цеха женщиной.

Женщина! Что они могут понимать в электричестве...

Потом он пошел к дизелю. Сережка был занят работой, он только широко улыбнулся, увидев отца, и крикнул: «Я скоро! Подожди!» Кравцов сел на подоконник и наблюдал, как Сережка орудует стамболом. Резиновые сапоги были слишком высоки для Сережкиных ног: парень был малорослый.

«Та же картина, что и на транспорте, – подумал Кравцов. – Покуда нас нет, на производстве управляются ребятишки и бабы».

Он поговорил с машинистом, старым знакомым, солидным человеком, угостил его медовым украинским самосадом и пригласил вечером зайти к нему.

Смена кончилась скоро, и Кравцов с Сережкой пошли домой. Сережка расспрашивал, где отец побывал, и Кравцов рассказывал ему о Киеве, Бресте, Ленинабаде, Тбилиси. «Ну, это – география», – сказал он и перешел к поездным делам.

– Все решительно мы вдвоем с замполитом, – сказал он. – Он придумывает – очень способная голова! – а я осуществляю его мысли. А текущая работа? Считай: электричество в багажник провел я. Радиохозяйство смотрю я. Все трубы парового отопления ремонтирую я. Ей-богу, без меня даже чайника не запаяют.

Ему было приятно, что с Сережкой можно говорить обо всем и Сережка поймет.

– Для лечения соллюксом я переделывал всю аппаратуру на сто десять вольт. Патроны

Миона пришлось заменять патронами Свана...

Тем временем старуха обежала соседок и одолжила талоны на водку всюду, где только могла. Считалось вообще неприличным встречать войскового отпусника без выпивки, а уж такого отпусника, как ее старик, старуха и подумать не могла принять всухую.

Кравцов с удовольствием увидел на столе батарею водочных и пивных бутылок и спросил благосклонно:

– Живем, мать?

– Живем, отец, – отвечала старуха.

– Ты у меня огонь-молодица, – сказал Кравцов. – Однако где же гости?

Гости пришли: чета родственников и старые приятели, в том числе машинист, Сережкино начальство. Было пристойно весело, без галдежа. Часто чокались и говорили друг другу приятности. Все внимание и вся ласка были устремлены на Кравцова. Каждому новому гостю он должен был рассказывать о Киеве, Двинске, Бресте, о следах, оставленных фашистами на нашей земле... Он наскоро кончал с этим и возвращался к поезду.

– Трудно. Дают моторную нефть тяжелого качества, а по марке требуется газоль. Что делать? Работаю на нефти. Большой нагар, загорают кольца. Учтите, насколько чаще приходится разбирать и чистить...

– А ну как же! – отвечали старички-приятели, степенно опрокидывая стопочки. – А ну ясно! С тяжелым топливом, само собой...

– А как Сергей работает? – при всех спросил Кравцов машиниста. – Не позорит отца?

Машинист похвалил Сережку. Кравцов тут же подарил Сережке карманные часы и прочитал ему такое наставление:

– Сергей, запомни: к машине всегда подходи в трезвом состоянии. Машину надо любить, тогда и она будет любить тебя. Если ты будешь ее любить – она, только ты откроешь дверь, будет здороваться с тобой, потому что подходит к ней дорогой человек. А будешь кой-как – она тебя возьмет, искромсает, сглохнет, выплюнет кусок мяса... Машина-то какая – один маховик на двух платформах привезен... Трезво и с любовью! – повторил Кравцов, теряя нить и стараясь поймать ее.

– В работе, – говорил он дальше, – должна быть культура и красота исполнения. Электрическое дело – самое прогрессивное и самое научное...

Много он еще говорил, чувствуя, что красноречие прибывает к нему с каждой остановкой. Уже и гости, ублажившись, разошлись, а он все учил Сережку. Проснулся утром на родимых полотах. Первая мысль была: смену проспал!.. Потом сообразил, что он теперь работает не на заводе, а в санитарном поезде и в данное время находится в отпуску. Успокоился и стал думать – кто же втащил его на полати и когда? Внизу старуха чистила его сапоги...

– Где Сергей? – спросил он.

– На работе, – отвечала старуха.

Кравцов скинул одеяло, сел, спустил босые ноги на теплую печь.

– Ну, так, – сказал он озабоченно и строго. – Дай, мать, опохмелиться...

Все было решено между Фаиной и Низвецким.

Как это получилось, Низвецкий и сам не знал. Ходил, пил чай. Фаина хохотала, говорила, вертелась в купе, задевая Низвецкого то плечом, то коленом... Она расспрашивала его о родственниках и интересовалась, правда ли, что во Владивостоке очень много китайцев? С горячим сочувствием Фаина относилась к болезни Низвецкого. Не обязательно делать операцию, говорила она, надо еще посоветоваться с гомеопатами, она слыхала, что иногда гомеопаты в этой области делают буквально чудеса!

Наконец Низвецкий починил ей лампу; лампа оказалась в исправности, просто волосок перегорел, а Фаина по неопытности думала, что лампа испорчена.

Фаина сказала Низвецкому, что он безумно интересный: наверно, многие женщины увлекаются им. Низвецкий удивился, но, посмотревшись в зеркало, нашел, что он действительно, пожалуй, недурен, только желт чересчур; но это пройдет, когда пройдет

болезнь, Фаина Васильевна права...

Обласканный и обнадеженный, Низвецкий все неохотнее уходил из Фаининого купе в вагон команды. Ему стало трудно пробыть без Фаины хотя бы час. О Лене он давно забыл думать... И вот однажды, когда Юлия Дмитриевна была в отпуску, а Данилов отлучился в город, как-то само собой вышло так, что Низвецкий задержался у Фаины до рассвета.

– Я не понимаю одного, – говорил он ей, счастливый и тихий. – За что ты полюбила меня? Она держала его в объятиях нежно, как младенца.

– Как ты не понимаешь! – говорила она умиленно, со слезами на глазах. – Как ты не понимаешь!..

Но он хотел, чтобы она объяснила ему это во всех подробностях.

– За то, что ты скромный, – перечисляла она восторженно, – за то, что ты такой вежливый, интеллигентный, вообще – удивительный...

Она от чистого сердца верила, что ее давно покорили эти качества Низвецкого. Ей казалось даже, что их встреча в санитарном поезде носит печать таинственного предопределения, что она, Фаина, для того и должна была пройти через войну, опасности и труды, чтобы найти свое счастье единственное, уготованное ей судьбою...

– Я тебя прошу только об одном, – жарко шептала она в ухо Низвецкому, – помни о моей любви всегда, всегда! Эти девчонки рады повеситься на шею любому просто так, скуки ради! Я одна, одна буду тебе настоящей женой, настоящим другом! Милый, это ужасно – я чувствую, что буду ревновать тебя до безумия...

Однажды к Данилову пришла Фима.

Она уже давно не прислуживала в штабном вагоне – работала на кухне поваром. Очень официально она сказала:

– Товарищ замполит, разрешите обратиться. Мы, работники кухни, просим вас лично, чтобы вы побеспокоились о нашем будущем.

– Это как же? – спросил Данилов. – Замуж вас повыдавать, что ли?

Фима отвернулась и прилично посмеялась шутке. Потом объяснила:

– Мы тут в поезде приобрели квалификацию и хотели бы после окончания войны работать по новой специальности. Оля и Катя – что вы думаете? вполне справятся поварями в общественных столовых, я их обучила. А я... Фима немного покраснела, – я, Иван Егорыч, хотела бы шеф-поваром или метрдотелем в какой-нибудь шикарный ресторан.

Слова-то какие: метрдотель... Что ж, молодцы...

– Это вы хорошо придумали, – сказал Данилов. – Постараюсь помочь. Во всяком случае, рекомендации вы получите.

– Иван Егорыч, что ж рекомендации. Рекомендации само собой, а вот если бы вы похлопотали как-нибудь организованным порядком...

– Постараюсь, – повторил он.

Когда она ушла, он стал обдумывать. Фима права. Он должен всех своих людей устроить в мирной жизни на тех местах, которые заслужены ими.

Есть люди, которые в этом не нуждаются: врачи, например; Юлия Дмитриевна, Лена Огородникова, он сам, Данилов.

Но вот сестра Смирнова, Клава Мухина: разве не достойны они работать в крупной, образцово поставленной больнице?

Соболю идти директором в подсобное хозяйство. Васька... Васька – куда угодно: в колхоз ли, в больницу ли, к черту ли на рога, – везде ей будет отлично. Он отдаст ее Юлии Дмитриевне: женщина бездетная – пускай учит уму-разуму способную девчонку...

Хорошо бы им всем держать связь между собою после войны. Поездные пассажиры за четверо суток и то свыкаются друг с другом. А они проездили вместе почти четыре года не пассажирами – работниками.

Он думал, что у кухонных девчат мозги набекрень, так же, как береты. А они вон о чем шушукуются по вечерам: о будущем. Кем они войдут в мирную жизнь.

А кем он сам войдет в мирную жизнь? – Дело найдется. Много найдется дела. Вот только дома надо устроить жизнь как следует. Не так, не так она была устроена.

Скоро он увидит сына.

Сейчас он увидит сына.

Данилов шел по широкой, как пустырь, окраинной улице к своему дому. Больше года он не был здесь.

Медленно шла пестрая корова. Старая бабка еще медленнее брела за нею с хворостиной в руке, опираясь на хворостину, как на посох. Какой-то человек в старой промасленной тужурке, бедово стуча каблуками по деревянным мосткам, обогнал Данилова и оглянулся на него, – незнакомый человек. По обочине узкого деревянного тротуара земля была вскопана под картошку.

Как в деревне. Мостки не подправлены, доски сгнили во многих местах. У домов обветшалый вид.

Такой же вид, конечно, и у его дома. Вряд ли трест в минувшем году смог сделать ремонт. Вряд ли и Дуся заботилась о ремонте. Не до того было и тресту и Дусе.

Одна, без него она прожила все эти годы. Прожила – он в этом не сомневался – честно, самоотверженно и скромно. А он так редко вспоминал о ней, он ей почти не писал...

Дети играли у соседних ворот. Сына между ними не было. Чьи это дети? Вон ту девочку, черную как цыганка, он словно видел раньше. Все повзростали, никого не узнать...

Калитка.

Калитка заперта. Но он знал секрет: нужно просунуть руку между досками забора и отодвинуть деревянный засов. Он так и сделал. И вошел во двор.

Во дворе никого не было. Данилов осмотрелся. Ровные гряды, вскопанные, взрыхленные граблями. Молодая трава по сторонам. Дорожка. Крыльцо. На двери замок.

Замок?

Почему-то он не ждал, чтобы так случилось. Это было естественно, раз он не предупредил о своем приезде. Но ему стало грустно.

Как же это так – замок?...

Он постоял с минуту. До войны Дуся, уходя, клала ключ от замка под крыльцо: на случай, если он вдруг придет без нее. Он спустился по низеньким ступенькам, пошарил под крыльцом: забытое, когда-то привычное ощущение мшистой сырости... Ключ лежал на прежнем месте, в ложбинке между двумя кирпичами.

Этот домашний тайник оказался старым знакомым. Он как бы сказал Данилову: здравствуй.

Данилов отворил дверь и вошел в дом.

Он стоял в маленькой кухне. Все было на прежнем месте – и стол, и горшок с алоэ, и квашня, прикрытая суровым полотенцем. В комнатах было сумеречнее, чем на дворе, и Данилов различал предметы один за другим.

На столе, покрытом светлой клеенкой, стояла стеклянная баночка с сахарным песком. На блюде – яичная скорлупа. Клеенка старая, потертая на углах стола; а когда Данилов уходил на войну, она была совсем еще новая. Чернильные пятна на клеенке. Откуда чернильные пятна? Ах, да, – это сын пишет. Сын вырос и пишет чернилами.

Данилов закрыл глаза. Когда он открыл их, они были мокры.

Он проглотил тяжелый и сладкий ком, бившийся в горле. С мокрыми глазами он засмеялся: сын вырос и пишет чернилами!

Данилов прошел в соседнюю комнату. И здесь все было на месте, но нет того прежнего блеска, той чистоты и нарядности, к которым он привык. Кровать вместо белого покрывала застелена грубым серым одеялом. На столе, около швейной машины, недоштопанный детский чулок, напаянный на деревянную ложку.

В углу стоял трехколесный детский велосипед; одна педаль у велосипеда была

обломана... Нет смысла починять этот велосипед. Сын вырос, ему теперь нужен двухколесный.

Данилов вышел на крыльцо, сел на ступеньку и закурил. Он сидел, курил и думал. Никто не тревожил его, ничто не отвлекало. И он медленно, без помехи думал о Дусе, жене, – думал с благодарностью, почти с нежностью. В кротком небе слабо мигнула звезда. Потянуло свежестью от земли... С улицы донесся Дусин голос. Слегка задыхаясь, она сердито выговаривала:

– Если бы ты был хороший мальчик, ты б ему сказал: не учите меня, дяденька, глупостям, мне рогатка без надобности, а вы бы, дяденька, шли работать, чем маленьких безобразиям учить...

Данилов не пошел навстречу, он сидел на крыльце, обняв колени руками.

Сын вбежал в калитку первым, Дуся шла за ним с тяжелым мешком за спиной. Сын увидел сидящего на крыльце и пошел шагом, шаг его все замедлялся, сын остановился, засмеялся и сказал растерянно:

– Папа...

Он стал длинный и худенький, загорел, у него не было передних зубов.

А Дуся охнула. Опустила мешок на землю и села на него, словно у нее не было сил идти дальше.

Данилов встал, обнял сына и поцеловал его в стриженую маковку. Потом подошел к жене.

– Встань, – сказал он.

Она встала. Он взял мешок и внес его в кухню. Жена шла за ним. Молча, дрожащими руками она сняла с головы платок и поправила волосы.

Данилов повернул выключатель. Вспыхнул свет и осветил счастливое лицо сына и постаревшее лицо жены.

И Данилов сказал ласково, раскаянно и устало:

– Ну, рассказывай, как жила...